ДОЗВ. ЦЕНЗ. СПБ. 7 ЯНВАРЯ 1891 Г

ТИП. ТОВ. „ОБЩ. ПОЛЬЗА“, Б. ПОДЪЯЧ., 39.

В. Г. Бѣлинскій.

ЖИЗНЬ ЗАМѢЧАТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ

БІОГРАФИЧЕСКАЯ БИБЛІОТЕКА Ф. ПАВЛЕНКОВА

В. Г. БѢЛИНСКІЙ

ЕГО ЖИЗНЬ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ

БІОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ

М. А. Протопопова

Съ портретомъ Бѣлинскаго, гравированнымъ
въ Лейпцигѣ Геданомъ

ЦѢНА 25 КОП.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

ТИПОГР. ТОВАРИЩ. «ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА», В. ПОДЪЯЧ., 39

1891.

ВЪ ПОИСКАХЪ ЗА ИСТИНОЙ

(«ПАРАДОКСЫ»)

МАКСА НОРДАУ.

Перевела съ 4 нѣмецкаго изданія *Элеонора Зауэръ*. Спб. 1891 г.
Второе (дешевое) изданіе. **Цѣна 1 р.**

СОДЕРЖАНІЕ: **Оптимизмъ или пессимизмъ?** Безнравственность мирового порядка. Человѣческая логика и міровое сознаніе. Страданіе—нашъ ангелъ-хранитель. Роль недовольства въ жизни. Оптимизмъ передъ лицомъ смерти. Двѣ идеализаціи: старости и дѣтства.

Геній и толпа. Желаніе меньшинства нравиться толпѣ. Пигмеи и великаны жизненной энергіи. Оригинальныя женщины. Чѣмъ объясняется пристрастіе къ новизнѣ, Сегодняшній геній—завтрашній филистеръ. Баррикады, какъ опоры общественнаго строя.

Успѣхъ въ жизни. Задача школы. Женскій успѣхъ. Жизненное поприще современнаго Аполона. Двойная тактика карьериста. Чудодѣйственная сила займовъ.

Психофизіологія генія и таланта. Опредѣленія генія и таланта. Органическая подкладка генія. Эмоціональная и разсудочная дѣятельность. Почему старое кажется поэтичнѣе новаго. Эмоціональныя поколѣнія, народы и эпохи. Наслѣдственность опредѣленныхъ талантовъ—заблужденіе. Злоупотребленіе эпитетомъ генія. Разсудокъ и воля. Іерархія генія. Мѣсто писателя въ этой іерархіи. Женщины и музыка. Послѣднее слово человѣческаго совершенства.

Внушеніе. Примѣръ и подраженіе. Механизмъ внушенія. Безсознательное чтеніе мыслей. Національный характеръ. Сходство умственной физіономіи у столичныхъ жителей.

Благодарное человѣчество. Благодарность не есть прирожденное чувство. Посмертная слава. Обратный законъ Сатурна.

Содержаніе беллетристики. Жизнь и литература. Исторія возникновенія женскихъ типовъ. Патологическій характеръ литературы. Шарлатанство «натурализма». Смѣлый проэктъ.

Естественная исторія любви Половая полярность ума. Мы любимъ только свой собственный органическій идеалъ. Какъ любитъ женщина и какъ любитъ мужчина. Женскія представленія о мужчинѣ.

Гдѣ истина? Два непримиримыхъ міровоззрѣнія. Область невѣдомаго намъ. Почему передача фактовъ очевидцами не имѣетъ цѣны? Что остается отъ явленія послѣ его анализа? Истины не существуетъ.

Національность. Общій языкъ есть единственный признакъ принадлежности къ одной націи. Значеніе языка въ прежнія эпохи и теперь. Ренегаты роднаго языка. Неумолимый міровой законъ.

Картина будущаго человѣчества. Что будетъ послѣ образованія національныхъ государствъ? Хлѣбный вопросъ. Наступленіе къ экватору. Превращеніе Молоха въ мать-кормилицу.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 22 Января 1891 г.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

I. Введеніе 5
II. Дѣтство Бѣлинскаго 13
III. Бѣлинскій въ гимназіи 21
IV. Бѣлинскій въ университетѣ 28
V. Начало литературной дѣятельности Бѣлинскаго . . . 37
VI. Жизнь и дѣятельность Бѣлинскаго въ Москвѣ . . . 48
VII. Жизнь и дѣятельность Бѣлинскаго въ Петербургѣ. . . 60
VIII. Заключеніе 80

ИСТОЧНИКИ:

1) «Бѣлинскій, его жизнь и переписка». *А. Н. Пыпина.* Два тома.
2) «Литературныя воспоминанія и воспоминанія о Бѣлинскомъ». *И. И. Панаева.*
3) «Катковъ и его время». *С. Невѣдѣнскаго.*
4) «Записки К. А. Полевого».
5) «В. Г. Бѣлинскій». Біографическій очеркъ *Свѣяжскаго.*
6) «Бѣлинскій, какъ педагогъ». *О. Миллера.*
7) «Бѣлинскій, какъ моралистъ». Часть I. и мн. др.

I.

Введеніе.

«Чѣмъ больше узнаешь людей, тѣмъ больше начинаешь любить собакъ». Не нужно быть завзятымъ пессимистомъ, чтобы усмотрѣть въ этомъ горько-шутливомъ изреченіи значительную долю правды. Поэтъ былъ, разумѣется, не правъ, когда говорилъ, что «кто жилъ и мыслилъ—тотъ не можетъ въ душѣ не презирать людей». Но съ другой стороны несомнѣнно, что и теперь, и прежде «жить» значитъ разочаровываться, а «мыслить» значитъ все яснѣе и яснѣе сознавать страшную многосложность жизни и, какъ результатъ этой многосложности, убійственную медлительность и затруднительность нашего развитія.

Одно изъ самыхъ тяжелыхъ разочарованій, которое можетъ постичь человѣка,—это разочарованіе въ нравственныхъ свойствахъ тѣхъ людей, которыхъ онъ привыкъ уважать и любить за ихъ умственныя качества. «Можно быть честнымъ дѣятелемъ, не будучи честнымъ человѣкомъ»—этотъ софизмъ можно доказывать самыми разнообразными аргументами (какъ это и бывало между прочимъ въ нашей журналистикѣ), но онъ навсегда останется только софизмомъ, т. е. ловкой фальсификаціей истины, дешевой ея имитаціей. Противъ него протестуетъ наше непосредственное нравственное чувство. Нѣтъ, кто не живетъ такъ, какъ самъ учитъ жить, для кого *слыть* важнѣе чѣмъ *быть*, у кого слово расходится съ дѣломъ—тотъ не можетъ быть настоящимъ крупнымъ дѣятелемъ уже по одному тому, что его личность и его жизнь являются аргументомъ противъ

его идей, противъ силы и жизненности его ученія. «Учителю, очистися самъ»—это элементарное соображеніе тысячи лѣтъ существуетъ и еще тысячи лѣтъ просуществуетъ, ни на волосъ не утративши своей силы, потому что оно въ одно и то же время продуктъ и простого здраваго смысла и естественнаго человѣческаго инстинкта. Каждое ученіе, имѣющее хотя бы только посредственное и отдаленное отношеніе къ нашему нравственному міру, непремѣнно ставитъ тотъ или другой *идеалъ*, а всякій идеалъ влечетъ за собою *обязанности*, между которыми простѣйшей, первѣйшей и очевиднѣйшей является обязанность служить этому идеалу.

Сферы человѣческой дѣятельности въ высшей степени разнообразны и конечно между ними нетрудно указать такія, къ которымъ было бы напрасно прилагать нравственные критеріи. Какое дѣло напр. до человѣческой личности Эдисона? Что общаго между нравственностью и электрическимъ фонаремъ? Или какимъ образомъ фонографъ можетъ вызвать съ нашей стороны извѣстныя надежды и нравственныя требованія по отношенію къ его изобрѣтателю? Тѣмъ не менѣе почитателямъ Эдисона конечно было напр. пріятно узнать, что онъ съ негодованіемъ отвергъ просьбу сѣвероамериканскаго правительства—найти удобнѣйшій способъ смертной казни посредствомъ электричества. Законы органической жизни, раскрытые Дарвиномъ, относятся не къ этикѣ, а къ біологіи, и дарвинизмъ, какъ *любая чисто научная теорія*, лишенъ рѣшительно всякаго субъективнаго нравственнаго элемента, но все таки намъ пріятно было убѣдиться, что личныя нравственныя качества творца этой теоріи вполнѣ соотвѣтствуютъ его высокой умственной силѣ. Называйте какъ хотите это чувство или этотъ инстинктъ,—чувствомъ нравственной симметріи или инстинктомъ нравственной красоты, но фактъ тотъ, что это чувство живетъ въ насъ и только въ силу его насъ печалитъ и отвращаетъ безобразное соединеніе въ одномъ и томъ же человѣкѣ высокихъ достоинствъ ума съ дурными свойствами сердца. Но мы выбирали примѣры, такъ сказать, нейтральные, безразличные, такіе, въ которыхъ талантъ или геній человѣка слагался изъ спеціальныхъ, чисто умственныхъ, мозговыхъ способностей и

силъ. Сколько бы мы ни собрали еще примѣровъ той же категоріи—они все таки будутъ представлять собою не болѣе какъ исключеніе, а общее правило состоитъ въ томъ, что духовная дѣятельность человѣка направляется къ воздѣйствію одновременно и на наши идеи и на наши чувства, на нашъ умъ и на нашу нравственность. Во всѣхъ этихъ безчисленныхъ случаяхъ фарисейскій принципъ «можно быть честнымъ дѣятелемъ, не будучи честнымъ человѣкомъ» подвергается самому безпощадному разоблаченію и осужденію. Кто повѣритъ рабовладѣльцу и работорговцу, декламирующему противъ рабства? Цѣломудріе—вещь прекрасная; но проповѣдь цѣломудрія, исходящая отъ человѣка всласть «пожившаго», звучитъ ложью и ироніей. «Патріотъ», не находящій достаточно сильныхъ словъ для прославленія прекрасныхъ качествъ своего народа и въ то же время усиленно рекомендующій всякаго рода ежевыя рукавицы по отношенію къ этому самому народу—не можетъ возбуждать въ насъ ничего кромѣ негодованія и отвращенія. Человѣкъ, построившій свое благостояніе ловкой эксплуатаціей чужого труда и въ то-же время возстающій противъ принциповъ капитализма, конечно не привлечетъ къ себѣ умовъ и сердецъ, жаждущихъ справедливости. Проповѣдникъ, указывающій на бренность и ничтожность всѣхъ земныхъ благъ и въ то-же время напрягающій всѣ свои способности для достиженія именно этихъ будто бы презираемыхъ имъ благъ, только самыхъ наивныхъ людей увлечетъ своею проповѣдью. И не въ томъ главная сущность дѣла, что всѣ эти люди и дѣятели, противорѣча своими поступками своимъ словамъ, подрываютъ довѣріе къ своей личности, къ своей искренности и убѣжденности, а въ томъ, что они вредятъ своимъ ученіямъ, роняютъ достоинство тѣхъ идей, которыя они берутся защищать. Истина—сама себѣ цѣль, а они превращаютъ ее въ средство; идея, теорія, доктрина, преисполненная быть можетъ глубочайшаго смысла и огромнаго значенія, являются въ ихъ рукахъ только жалкими ширмами, подъ защитою которыхъ не дѣла дѣлаются, а дѣлишки обдѣлываются. Хороши идеи, если подъ ихъ флагомъ можно провозить какой угодно товаръ! Хороши идеалы, если на практикѣ ихъ назначеніе сводится къ тому, чтобы отводить на-

ивнымъ людямъ глаза! Хороша истина, если ею можно торговать «распивочно и на вынось»! Вотъ заключенія, къ которымъ рано или поздно приводитъ «честная» дѣятельность какого нибудь фарисея,—заключенія въ логическомъ смыслѣ совершенно невѣрныя, но въ нравственномъ отношеніи почти неизбѣжныя и во всякомъ случаѣ вполнѣ естественныя. По адептамъ судятъ объ ученіи, и разочарованіе въ личности дѣятеля ведетъ къ разочарованію въ его идеѣ. Это конечно не логика разума, но это логика жизни, и въ этой логикѣ есть свой серьезный смыслъ. Да, искренній и безкорыстный обскурантъ менѣе вреденъ нежели просвѣщенный тартюфъ, которому свѣтъ дорогъ не потому, что онъ свѣтъ, а потому, что, по времени и обстоятельствамъ,

съ либеральнаго
Направленія больше барышъ,
Нежели съ мѣста квартальнаго.

Писателямъ болѣе, чѣмъ кому либо, необходимо возможно-полное согласованіе своихъ словъ съ своею жизнью. Для писателя, для человѣка, обладающаго безцѣнной привиллегіей обращаться сразу къ тысячамъ и къ десяткамъ тысячъ слушателей, и рискованно и преступно выступать съ какими бы то ни было иными цѣлями, кромѣ цѣли передать добытыя имъ крупицы истины и добра. Сила писателя въ талантѣ, но сила таланта прежде всего въ искренности. Безъ компромисовъ, безъ досадныхъ и унизительныхъ уступокъ не проживешь на этомъ свѣтѣ; но отсюда еще слишкомъ далеко до лицемѣрія, до отрицанія на практикѣ того, чему вѣришь и что исповѣдуешь въ теоріи. Почему читатели всѣхъ странъ и всѣхъ эпохъ интересуются даже мелкими и интимными подробностями жизни любимыхъ писателей? Конечно, не въ силу только одного празднаго любопытства, а въ силу сознательнаго или инстинктивнаго желанія въ живомъ примѣрѣ ихъ жизни почерпнуть новое и сильнѣйшее доказательство жизненности и истинности ихъ ученія. И благо тому писателю, который можетъ безбоязненно предстать на этотъ послѣдній судъ, чьи труды были не дѣломъ карьеры, а дѣломъ жизни, чьи произведенія — не красивыя

«словеса лукавствія», а выраженіе *убѣжденія*, т. е. не только вѣры, но и знанія—и не только знанія, но и вѣры. Пусть триста лѣтъ посмертной славы можно отдать за хорошее пищевареніе и пусть также «мертвые срама не имутъ». Но если живой будетъ предчувствовать, что его, хотя бы уже и мертваго, непремѣнно постигнетъ «срамъ» изобличенія; если писатель, въ тайникахъ своей совѣсти, будетъ сознавать, что онъ заслуживаетъ не славы, а безславія—то это уже достаточное возмездіе, и наше чувство справедливости можетъ считать себя удовлетвореннымъ.

Какихъ не вымышляй пружинъ,
Чтобъ мужу бую умудриться
Не можно вѣкъ носить личинъ,
И истина должна открыться!

Судъ общественнаго мнѣнія, также какъ и судъ исторіи, также какъ и судъ совѣсти, не налагаютъ никакихъ формальныхъ каръ, но они страшнѣе суда уголовнаго для людей, не окончательно утратившихъ всякое нравственное чувство.

Къ своей теперешней задачѣ мы приступаемъ съ совершенно легкимъ сердцемъ. Мы своимъ разсказомъ не убьемъ въ читателѣ ни одного благороднаго вѣрованія; ни горечи, ни разочарованія не испытаетъ онъ, познакомившись съ нравственной личностью нашего знаменитаго критика. Наоборотъ: это одно изъ тѣхъ созерцаній, которыя освѣжаютъ душу и укрѣпляютъ вѣру,—вѣру въ человѣка и его достоинство. Безгрѣшенъ только Богъ, но и между людьми есть праведники, безъ которыхъ земля не стояла бы, и Бѣлинскій былъ однимъ изъ нихъ—это мы заявляемъ съ перваго же шага и безъ малѣйшихъ сомнѣній. Не литературныя симпатіи, не благодарныя и почтительныя чувства ученика къ учителю одушевляютъ насъ,—этого было бы мало—а именно гордость и радость за человѣческую природу, которая въ лучшихъ своихъ образцахъ представляется намъ почти на высотѣ идеала. Если намъ, какъ Гамлету, можетъ быть временами дѣйствительно «страшно за человѣка», тѣмъ должны быть дороже для насъ тѣ рѣдкіе случаи, когда за человѣка утѣшительно и радостно. Жизнь Бѣлинскаго полна

увлеченій, ошибокъ, заблужденій и иногда даже паденій, но именно о людяхъ этого типа и сказано, что имъ многое простится, потому что они возлюбили много. Не отъ равнодушія къ истинѣ, а наоборотъ отъ слишкомъ страстной и нетерпѣливой жажды ея проистекали эти ошибки. Ни чувствовать, ни мыслить вполовину Бѣлинскій не умѣлъ и не могъ. Его умъ былъ слишкомъ силенъ и дѣятеленъ для того, чтобы ограничиться пассивнымъ воспріятіемъ идей, представлявшихся ему истинными, безъ попытки самостоятельно развить и расширить эти идеи, а чувство слишкомъ искренно и пламенно, чтобы устрашиться какихъ бы то ни было логическихъ результатовъ. «Упорствуя, волнуясь и спѣша» (по прекрасному выраженію Некрасова), онъ шелъ всегда впередъ и вотъ почему одинъ невѣрный шагъ въ сторону отъ прямого пути заводилъ его въ глухія трущобы, куда за нимъ никто не осмѣливался слѣдовать. Съ проклятіями своему мнимому «невѣжеству», съ ожесточеніемъ противъ самого себя, онъ возвращался изъ этихъ трущобъ мысли, опять и опять принимался за свой трудъ піонера и кончилъ не унынiемъ, не отчаяніемъ, не паденіемъ, а тѣмъ, что овладѣлъ желаннымъ талисманомъ,—

И съ дерева невѣдомаго плодъ,
Безпечные, безпечно мы вкушаемъ.

Такія исканія не напрасны, *такія* заблужденія не суть заблужденія въ собственномъ смыслѣ этого слова, они—тѣ искупительныя жертвоприношенія, которыхъ, по слову поэта, проситъ судьба, потому что «даромъ ничто не дается».

«Что есть истина»? Мы знаемъ глубочайшій отвѣтъ, который послѣдовалъ на этотъ ироническій вопросъ. Да, не въ какой нибудь отвлеченной формулѣ выражается истина, а въ живой человѣческой личности, въ ея стремленіи къ добру, въ ея любви къ себѣ подобнымъ, въ ея готовности грѣхи нашего незнанія, нашей ограниченности и нашего равнодушія искупить цѣною собственнаго страданія. Проходятъ эпохи и поколѣнія, мѣняются задачи, лозунги и знамена, падаютъ устарѣвшіе идеалы и выдвигаются новые—но въ этомъ процессѣ смѣны

относительныхъ понятій и временныхъ задачъ есть нѣчто абсолютное и непреходящее. Умираютъ личности, но живетъ человѣчество; тускнѣютъ и выдыхаются идеи, но блещетъ вѣчнымъ свѣтомъ истина: падаютъ идеалы, но не исчезаетъ стремленіе къ идеальному. Какъ жизнь заключается въ процессѣ жизни, такъ истина заключается въ процессѣ ея раскрытія. Кто подвигаетъ людей на работу общую, кто своимъ примѣромъ, своею жизнью, своими идеями вызываетъ въ насъ дѣятельность ума и чувства—тотъ и есть достойный служитель истины, хотя бы прогрессирующая жизнь давно оставила за собою когда то живыя и широкія формы и пути его мысли.

Съ этой высшей и общей точки зрѣнія дѣятельность Бѣлинскаго, со всѣми ея уклоненіями, увлеченіями и переломами, стоитъ внѣ всякаго упрека. Но этого мало. Почти полвѣка прошло со времени смерти незабвеннаго писателя, но основная тема и основной тезисъ его литературно-критической дѣятельности до сихъ поръ сохранилъ свѣжесть самой животрепещущей современности. Фундаментальная идея воззрѣній Бѣлинскаго была формулирована имъ напр. такимъ образомъ: «*никто, кромѣ людей ограниченныхъ и духовно-малолѣтнихъ, не обязываетъ поэта воспѣвать непремѣнно гимны добродѣтели и карать сатирою порокъ; но каждый умный человѣкъ въ правѣ требовать, чтобы поэзія поэта или давала ему отвѣты на вопросы времени или, по крайней мѣрѣ, исполнена была скорбью этихъ тяжелыхъ, неразрѣшимыхъ вопросовъ. Кто поетъ про себя и для себя, презирая толпу, тотъ рискуетъ быть единственнымъ читателемъ своихъ произведеній*». Сказано, какъ отрублено. Это основное требованіе критики Бѣлинскаго выражено такъ категорически и формулировано такъ отчетливо, что рѣшительно не допускаетъ какихъ нибудь кривыхъ толкованій. Вся послѣдующая дѣятельность преемниковъ Бѣлинскаго, имена которыхъ и называть не нужно, была не инымъ чѣмъ, какъ развитіемъ этого принципа, въ примѣненіи конечно къ текущимъ литературнымъ явленіямъ. Само собой разумѣется, что значеніе этого принципа отнюдь не эстетическое и даже не чисто литературное, а строго и непосредственно общественное: приглашать поэзію

не чуждаться «вопросовъ времени» значитъ, въ сущности, призывать къ этому само общество, а это въ свою очередь значитъ развивать въ немъ сознаніе солидарности, будить въ немъ тотъ духъ общественности, безъ котораго нѣтъ ни прогресса, ни настоящей умственной жизни. Эстетика, какъ метафизика искусства, была для Бѣлинскаго не себѣ самой довлѣющей цѣлью, а довольно хорошимъ, за неимѣніемъ лучшаго, средствомъ.

И такъ, вотъ о комъ мы хотимъ разсказать читателю: не о мертвомъ а о живомъ и даже до сихъ поръ передовомъ человѣкѣ. Жизнь Бѣлинскаго столько же бѣдна внѣшними событіями, сколько богата внутреннимъ содержаніемъ. Руссо сказалъ про себя, что онъ явится на страшный судъ, держа въ рукахъ свои «Confessions». Бѣлинскій можетъ явиться на тотъ судъ, не выбирая между своими произведеніями, ни отъ чего не отрекаясь, ничего не скрывая и не утаивая. Онъ писалъ какъ думалъ и жилъ какъ писалъ. Въ этой полнѣйшей искренности не только его оправданіе, но и его нравственная заслуга, помимо его умственныхъ подвиговъ. Какъ писатель—онъ училъ насъ мыслить; какъ человѣкъ—онъ учитъ любить мысль и довѣрять ей. Бѣлинскій былъ натура *альтруистическая*—вотъ краткое резюме всей совокупности его нравственныхъ свойствъ.

II.

Дѣтство Бѣлинскаго.

Виссаріонъ Григорьевичъ Бѣлинскій родился въ Свеаборгѣ, въ маѣ или въ февралѣ (это обстоятельство остается неразъясненнымъ) 1810-го года. Какъ очень многіе изъ русскихъ писателей, онъ происходилъ изъ духовнаго сословія: дѣдъ Бѣлинскаго былъ священникомъ въ селѣ Бѣлыни Пензенской губерніи Нижнеломовскаго уѣзда —откуда и фамилія Бѣлынскій, передѣланная въ «Бѣлинскій» нашимъ критикомъ. «Въ жилахъ Бѣлинскаго, по замѣчанію Тургенева, текла безпримѣсная кровь— принадлежность нашего великорусскаго духовенства, столько вѣковъ недоступнаго вліянію иностранной породы». Дѣдъ Бѣлинскаго—о. Никифоръ—былъ въ своемъ родѣ замѣчательный человѣкъ, нисколько не отвѣчавшій обычному типу сельскаго священника того времени (какъ, впрочемъ, и нашего): онъ велъ уединенный и аскетическій образъ жизни, и память о немъ сохранялась въ семьѣ какъ о праведникѣ. Совершенно въ другомъ родѣ, но не въ меньшей степени былъ замѣчателенъ и отецъ Бѣлинскаго—Григорій Никифоровичъ. Онъ кончилъ курсъ въ петербургской медицинской академіи и служилъ лекаремъ во флотскомъ экипажѣ, во время стоянки котораго въ Финляндіи у него и родился первенецъ-сынъ Виссаріонъ. Въ 1816 году онъ перешелъ на службу въ родную Пензенскую губ.. а именно въ Чембаръ на должность уѣзднаго врача. Чѣмъ была наша провинція въ первой четверти текущаго столѣтія—это намъ хорошо извѣстно хотя бы по разнообразной коллекціи гоголевскихъ типовъ. Въ Чембарѣ разыгралось нѣчто вродѣ «горе отъ ума» въ миніатюрѣ: Григ. Ник. Бѣлинскій былъ обвиненъ въ безбожіи, въ «вольтерьянствѣ» и долженъ былъ порвать съ уѣзднымъ обществомъ всѣ связи, кромѣ офиціальныхъ. Его жена

- мать нашего критика—насколько можно судить по слишкомъ скуднымъ даннымъ, сохранившимся о ней, наоборотъ, была во всѣхъ отношеніяхъ какъ разъ подъ стать туземному обществу и Григорій Никифоровичъ, лишенный поддержки и съ этой стороны, прибѣгъ къ исторически освященному и всероссійскимъ опытомъ оправданному источнику утѣшенія: онъ запилъ. Казалось бы, абрютировавъ себя такимъ способомъ, онъ могъ сойтись на дружеской ногѣ съ забраковавшимъ его обществомъ, но сближенія не послѣдовало очевидно потому, что пьяный Бѣлинскій все таки былъ гораздо умнѣе трезвыхъ Бобчинскихъ, Добчинскихъ, Коробочекъ и Собакевичей. Наоборотъ, отношенія еще болѣе обострились: потерявъ контроль надъ собой, Бѣлинскій-отецъ давалъ полную волю своему языку и амбиціозные Бобчинскіе дошли въ своемъ озлобленіи до того, что Бѣлинскій отказывался ѣздить по приглашеніямъ даже какъ докторъ, изъ опасенія быть убитымъ. Относя часть этихъ опасеній просто къ галлюцинаціямъ первно-разстроеннаго человѣка, все таки остается несомнѣнной крайняя враждебность чембарскаго общества по отношенію къ Бѣлинскому и полное одиночество послѣдняго.

Понятное дѣло, что семейная жизнь, сложившаяся изъ такихъ элементовъ, не могла похвалиться внутреннимъ миромъ. Тѣмъ не менѣе, изъ различныхъ данныхъ, собранныхъ г. Пыпинымъ въ его книгѣ о Бѣлинскомъ, нѣтъ никакой возможности заключить, что нравственная атмосфера, въ которой росъ будущій критикъ, была исключительно плоха. Мы склонны даже думать какъ разъ противоположное. Для того, кто имѣетъ хотя отдаленное литературное понятіе о строѣ нашей такъ называемой патріархальной семьи, представится въ высшей степени необычайной напр. такая картина отношеній отца къ сыну, нарисованная близкимъ родственникомъ Бѣлинскихъ - Д. Н. Ивановымъ: Григорій Никифоровичъ Бѣлинскій «съ самой ранней поры даровитаго ребенка не могъ не отличать и остроумія рѣчей, и страсти къ чтенію, и пытливой любознательности, съ которою мальчикъ прислушивался къ разсказамъ отца о прошедшемъ, къ его сужденіямъ о предметахъ, вызывающихъ на размышленіе». «По словамъ г. Иванова—приба-

вляетъ далѣе г. Пыпинъ—между ними была симпатія, благодѣтельно дѣйствовавшая на обоихъ въ рѣзкихъ случаяхъ и дѣйствительно, заключаетъ г. Пыпинъ, Виссаріонъ, еще юноша, въ виду домашнихъ несогласій, сталъ заявлять свой голосъ, высказывать отцу свои укоры и отецъ выслушивалъ ихъ, не негодовалъ, не оправдывался: очевидно, голосъ сына онъ принималъ съ уваженіемъ». Поставивши эти свои «дѣйствительно» и «очевидно», г. Пыпинъ тѣмъ не менѣе, къ искреннему нашему изумленію, называетъ домашнія отношенія Бѣлинскаго «тягостными», его «родной кровъ» — *непріютнымъ*. Но неужели не отрадна эта дружеская близость между сыномъ и отцомъ? И неужели эта близость—не цвѣтущій оазисъ въ мертвенной пустынѣ тѣхъ отношеній, понятій и взглядовъ, которые формулировались въ классическомъ изреченіи — «мое дѣтище: хочу съ кашей ѣмъ, хочу масло пахтаю». Если тутъ что «дѣйствительно» и «очевидно», такъ это то, что Бѣлинскій-отецъ былъ головою выше не только своего захолустнаго, но и вообще современнаго ему общества. Виссаріонъ Бѣлинскій имѣлъ рѣдкое счастіе найти въ своемъ отцѣ не зоологическую любовь только, но и вниманіе и пониманіе. Ничто такъ не развиваетъ и не возвышаетъ дѣтей—въ особенности даровитыхъ и самолюбивыхъ—какъ разумно-дружеская короткость съ ними, отношеніе къ нимъ какъ къ равнымъ, безъ безпрестаннаго напоминанія о своемъ авторитетѣ, безъ злоупотребленія своими формальными правами. Бѣлинскій имѣлъ это исключительное счастіе, въ сравненіи съ которымъ мелкія домашнія стычки между родителями представляются совершенной бездѣлицей. Не были свѣтлыми, какъ къ отцу, но не были и мрачными, тяжелыми отношенія Виссаріона къ матери. Очевидцы говорятъ, что «мать была женщина добрая, но мало развитая, раздраженная и сварливая; ея образованіе ограничивалось посредственнымъ знаніемъ грамоты. Вся забота ея заключалась въ томъ, чтобы прилично одѣть и, особливо, сытно накормить дѣтей: когда Виссаріонъ жилъ въ Москвѣ, она еще снабжала его теплыми фуфайками и копченными гусями, посылаемыми съ «*оказіей*». Что тутъ дурного или ненормальнаго спросимъ мы. Мать давала, что могла: сытно кормила и тепло одѣвала своихъ дѣтей, не претендуя на нравственное и умственное руководи-

тельство, не залѣзая въ душу и не пасилуя совѣсти своего даровитаго сына. Дѣлалось ли это по небрежности или въ силу неяснаго сознанія, что такое руководительство не ея ума дѣло, результатъ во всякомъ случаѣ былъ хорошъ: темные предразсудки матери остались безъ малѣйшаго вліянія на впечатлительнаго ребенка. Сколько людей могли бы позавидовать условіямъ дѣтской жизни Бѣлинскаго *).

Счастье продолжало благопріятствовать Бѣлинскому и далѣе. Грамотѣ онъ выучился у вольнопрактиковавшей (тогда на этотъ счетъ было просто) учительницы, нѣкоей Ципровской, о личности которой свѣдѣній не имѣется, дальнѣйшее же обученіе началось для него въ чембарскомъ уѣздномъ училищѣ, только что тогда открывшемся. «На первое время—разсказываетъ г. Пыпинъ—весь педагогическій штатъ заведенія состоялъ изъ одного смотрителя, который былъ преподавателемъ по всѣмъ предметамъ. Этотъ смотритель былъ человѣкъ добрый и кроткій». «Вскорѣ,—разсказываетъ Ивановъ, поступившій въ училище въ одно время съ Бѣлинскимъ,—прибавились новые учителя—одинъ для Закона Божія, соборный священникъ; другой для русскаго языка—сынъ другого соборнаго священника, исключенный изъ семинаріи. Этотъ послѣдній былъ страстный любитель наказаній, розогъ, которыя онъ употреблялъ иногда въ видѣ ласки, наказывая ими сквозь платье, ради личной потѣхи, совершенно невиннаго и прилежнаго мальчика. Благородное негодованіе на этотъ вандализмъ Виссаріона возбудило энергическія жалобы къ смотрителю со стороны Григорія Никифоровича». Надобно замѣтить, «что Виссаріонъ никогда не былъ предметомъ этихъ дикихъ любезностей бурсака-учителя и вмѣшался въ дѣло не столько по участію къ товарищамъ, которые были моложе его классомъ, но потому, что находилъ подоб-

*) Замѣтимъ здѣсь разъ навсегда вотъ что: чрезвычайно обстоятельная и добросовѣстная біографія Бѣлинскаго, составленная г. Пыпинымъ, почти совершенно лишена критическаго элемента. Мы считаемъ нужнымъ указать на это, въ виду того, что эта біографія положена въ основу нашей работы. Всѣ фактическія свѣдѣнія, сообщенныя г. Пыпинымъ, мы считаемъ для себя почти обязательными; но выводы изъ этихъ свѣдѣній, тотъ свѣтъ, въ которомъ представлены факты, мы въ огромномъ большинствѣ случаевъ находимъ невѣрными и отвергаемъ ихъ.

ные поступки возмутительными. Преподаваніе въ училищѣ совершалось въ духѣ патріархальной простоты. Учителя не затруднялись оставлять учениковъ на произволъ судьбы, отправляясь домой для жертвоприношеній Бахусу, а ученики, въ лѣтнее время, иногда цѣлымъ училищемъ уходили купаться». Оставляя въ сторонѣ цвѣты восторженнаго краснорѣчія Иванова вродѣ «благороднаго негодованія на вандализмъ» со стороны одиннадцатилѣтняго пузыря, нельзя не увидѣть, что чембарское училище, благодаря «доброй и кроткой» личности смотрителя, было лучше другихъ училищъ, въ которыхъ «страстные любители наказаній» были не исключеніемъ, а правиломъ между учителями. Представители позднѣйшаго поколѣнія — Помяловскій, котораго высѣкли въ бурсѣ *четыреста* разъ, или Рѣшетниковъ, котораго только лѣнивый не билъ и не истязалъ,—могли-бы развѣ только подивиться на Бѣлинскаго, даже вчужѣ не выносившаго тѣлесныхъ наказаній. Но мало того, что училище по крайней мѣрѣ не портило Бѣлинскаго въ нравственномъ отношеніи, оно положительно помогло его умственному развитію, сообщило ему нѣкоторыя положительныя знанія. Директоромъ училищъ Пензенской губерніи былъ въ то время извѣстный романистъ Лажечниковъ, который оставилъ слѣдующій любопытный разсказъ:

«Въ 1823 году,—разсказываетъ Лажечниковъ, — ревизовалъ я чембарское училище. Новый домъ былъ только-что для него отстроенъ. Во время дѣлаемаго мною экзамена выступилъ передо мною, между прочими учениками, мальчикъ лѣтъ 12, котораго наружность съ перваго взгляда привлекла мое вниманіе. Лобъ его былъ прекрасно развитъ, въ глазахъ свѣтлѣлся разумъ не по лѣтамъ; худенькій и маленькій, онъ между тѣмъ на лицо казался старѣе, чѣмъ показывалъ его ростъ. Смотрѣлъ онъ очень серьезно... На всѣ дѣлаемые ему вопросы онъ отвѣчалъ такъ скоро, легко, съ такою увѣренностію, будто налеталъ на нихъ, какъ ястребъ на свою добычу (отчего я тутъ-же прозвалъ его ястребкомъ), и отвѣчалъ, большей частью, своими словами, прибавляя ими то, чего не было даже въ казенномъ руководствѣ. Доказательство, что онъ читалъ и книги, не положенныя въ классахъ. Я особенно занялся имъ, бросался съ нимъ отъ одного предмета къ другому, связывая ихъ непрерыв-

ною цѣпью, и, признаюсь, старался сбить его... Мальчикъ вышелъ изъ труднаго испытанія съ торжествомъ. Это меня пріятно изумило, также и то, что штатный смотритель не конфузился, что его ученикъ говоритъ не слово въ слово по учебной книжкѣ (какъ я привыкъ видѣть и съ чѣмъ боролся не мало въ другихъ училищахъ). Напротивъ, лицо добраго и умнаго смотрителя сіяло радостью, какъ будто онъ видѣлъ въ этомъ торжествѣ собственное свое. Я спросилъ его, кто этотъ мальчикъ. «Виссаріонъ Бѣлинскій, сынъ здѣшняго уѣзднаго штабъ-лекаря», сказалъ онъ мнѣ. Я поцѣловалъ Бѣлинскаго въ лобъ, съ душевною теплотой привѣтствовалъ его, тутъ-же потребовалъ изъ продажной библіотеки какую-то книжонку, на заглавномъ листѣ которой надписалъ «Виссаріону Бѣлинскому за прекрасные успѣхи въ ученіи (или что-то подобное) отъ такого-то, тогда-то». Мальчикъ принялъ отъ меня книгу безъ особеннаго радостнаго увлеченія, какъ должную себѣ дань, безъ низкихъ поклоновъ, которымъ учатъ бѣдняковъ съ малолѣтства».

Разсказъ этотъ, немножко сантиментальный и, какъ водится во всѣхъ такихъ случаяхъ, не обошедшійся безъ преувеличеній («въ глазахъ разумъ не по лѣтамъ», «ястребокъ», «принялъ награду какъ дань» и пр.), кажется намъ замѣчательнымъ и правдивымъ въ томъ отношеніи, что Лажечниковъ въ самомъ дѣлѣ почувствовалъ симпатію къ мальчику—Бѣлинскому: талантъ почуялъ талантъ, словесникъ инстинктивно узналъ словесника. Дѣло въ томъ, что любовь къ литературѣ сказалась въ Бѣлинскомъ чрезвычайно рано, по его собственному свидѣтельству. «Еще будучи мальчикомъ, писалъ онъ впослѣдствіи по одному поводу, ученикомъ уѣзднаго училища, я, въ огромныя кипы тетрадей, неутомимо, денно и нощно и безъ всякаго разбору списывалъ стихотворенія Карамзина, Дмитріева, Державина и пр.; я плакалъ, читая «Бѣдную Лизу» и «Марьину Рощу»; я писалъ баллады и думалъ, что онѣ не хуже балладъ Жуковскаго, не хуже «Рапсы» Карамзина, отъ которой я тогда сходилъ съ ума».

Разсказъ Лажечникова важенъ для насъ еще въ другомъ отношеніи. Бѣлинскій обрисовывается въ этомъ разсказѣ мальчикомъ нисколько не робкимъ, не забитымъ, не пригнетеннымъ, а ужь казалось-бы передъ кѣмъ и робѣть ученику уѣзднаго учи-

лища, какъ не передъ *самимъ* директоромъ! Ясно, что домашняя обстановка, отношенія къ родителямъ были совсѣмъ не такого свойства, чтобы развить въ ребенкѣ рабскія свойства — робость и затаенное озлобленіе.

Мы настаиваемъ на этомъ выводѣ тѣмъ упорнѣе, чѣмъ настойчивѣе біографы Бѣлинскаго стараются убѣдить читателя въ противоположномъ. Въ видѣ послѣдняго аргумента г. Пыпинъ ссылается на самого Бѣлинскаго. Онъ говоритъ: «Бѣлинскій самъ впослѣдствіи говорилъ, что не вынесъ изъ своей семьи никакого привѣтнаго воспоминанія. Одинъ изъ его ближайшихъ друзей послѣдняго времени разсказываетъ (вѣроятно, по воспоминаніямъ, слышаннымъ отъ самого Бѣлинскаго), что однажды, когда Бѣлинскому было лѣтъ десять или одиннадцать, отецъ его, возвратившись съ попойки, сталъ безъ всякаго основанія бранить сына. Ребенокъ оправдывался; взбѣшенный отецъ ударилъ его и повалилъ на землю. Мальчикъ всталъ пересозданнымъ: оскорбленіе и глубокая несправедливость запали ему въ душу».

Мы нисколько не сомнѣваемся въ возможности такого факта и допускаемъ его тѣмъ охотнѣе, что онъ, какъ говорится, вода на наше колесо. Именно потому этотъ случай и врѣзался Бѣлинскому въ память, что онъ былъ случай исключительный. Если-бы Помяловскаго или Рѣшетникова спросили: какое «оскорбленіе» или «глубокая несправедливость» особенно «запали въ душу» имъ изъ времени ихъ дѣтства и юности, они испытали-бы то затрудненіе, которое у французовъ называется embarras de richesse: какая, въ самомъ дѣлѣ, изъ *четырехсотъ* пороковъ Помяловскаго была для него особымъ «оскорбленіемъ» или какой изъ безчисленныхъ пинковъ, тычковъ и ударовъ, доставшихся Рѣшетникову, былъ «глубокою несправедливостью»? А главное, нравственное и умственное вліяніе отца на сына, вліяніе, на личность котораго въ данномъ случаѣ никто не отвергаетъ, достигается не пощечинами, а задушевными бесѣдами, любовнымъ раскрытіемъ своего внутренняго міра. О пощечинѣ сгоряча или спьяна мы имѣемъ отъ біографовъ подробный разсказъ, да еще съ риторико-трагическими прикрасами («мальчикъ всталъ пересозданнымъ»); но объ этихъ бесѣдахъ, объ этихъ урокахъ и разсказахъ мы не находимъ но-

чти ни одного слова—точно ихъ и не бывало никогда. Въ заключеніе г. Пыпинъ приводитъ отрывокъ изъ позднѣйшаго письма Бѣлинскаго къ Боткину. Вотъ этотъ отрывокъ: «Имѣть отца и мать для того, чтобы смерть ихъ считать моимъ освобожденіемъ, слѣдовательно не утратою, а скорѣе пріобрѣтеніемъ, хотя и горестнымъ; имѣть брата и сестру, чтобы не понимать, почему и для чего они мнѣ братъ и сестра, и еще брата, чтобы быть привязаннымъ къ нему какимъ-то чувствомъ состраданія—все это не слишкомъ утѣшительно.. »

Безполезно, намъ кажется, и говорить, что это письмо ровно ничего не доказываетъ. Бѣлинскому было около тридцати лѣтъ, когда онъ писалъ это письмо; онъ давно уже на нѣсколько головъ переросъ всѣхъ своихъ родственниковъ и весьма естественно, что онъ чувствовалъ къ нимъ нѣкоторую отчужденность, которая и выразилась въ этомъ письмѣ. Вѣдь рѣчь идетъ въ письмѣ не объ однихъ только родителяхъ, а также о братѣ и сестрѣ, на деспотизмъ которыхъ не могъ же жаловаться ихъ старшій братъ!

Итакъ, мы признаемъ несомнѣннымъ, что условія дѣтской жизни Бѣлинскаго не только не были исключительно тяжелы, а наоборотъ стояли выше обычнаго въ то время уровня воспитанія. Вмѣстѣ съ этимъ сами собой отпадаютъ и тѣ широкія заключенія, которыя сдѣлалъ г. Пыпинъ на основаніи анализа семейныхъ отношеній Бѣлинскаго. «*Здѣсь* былъ источникъ той сосредоточенности и того чувства человѣческаго достоинства, которыя отличали его еще мальчикомъ и *здѣсь-же* было начало его нервной раздражительности, того страстнаго негодованія противъ всякой несправедливости, которыя вспыхивали въ немъ даже по такимъ поводамъ, гдѣ другіе не находили бы никакой причины волноваться. *Отсюда* развивалась его странная боязнь людей, которая заставляла его робѣть и мѣшаться съ незнакомыми людьми, въ новомъ для него обществѣ». Какія, подумаешь, большія вещи таились «*здѣсь*» — въ маленькомъ Чембарѣ, и какіе огромные результаты произошли «*отсюда*» — изъ дѣтской и изъ уѣзднаго училища! Чембару отведена такая важная роль, что на долю всероссійской жизни почти ничего и не остается...

III.

Бѣлинскій въ гимназіи.

Лѣтомъ 1825 года Бѣлинскій поступилъ въ пензенскую гимназію. Ему шелъ уже шестнадцатый годъ—возрастъ, въ которомъ другіе поступаютъ не въ гимназію, а въ университетъ. Даровитый, начитанный, умственно-развитый юноша въ роли начинающаго гимназиста—такое положеніе было слишкомъ ненормально, чтобы могло продолжаться долго, и дѣйствительно, всего черезъ три съ половиной года послѣ своего поступленія, Бѣлинскій былъ исключенъ изъ гимназіи «за нехожденіе въ классъ».

Здѣсь мы уже можемъ отмѣтить ту особенность духовной жизни Бѣлинскаго, которая составляетъ очень характерную его черту. Умственное развитіе Бѣлинскаго намного опережало его научное образованіе. Фактическія свѣдѣнія, которыми располагалъ Бѣлинскій, были не пропорціональны его идеямъ. Какъ всякій дѣятельный и сильный умъ, Бѣлинскій умѣлъ съ небольшими средствами достигать большихъ результатовъ, умѣлъ такъ хорошо и цѣлесообразно утилизировать отрывочные, почти случайно схваченные факты, что общіе выводы являлись какъ-бы сами собой. Бѣлинскому достаточно было овладѣть хоть маленькою и побочною ниточкою, чтобы съ ея помощью добраться до самой сердцевины предмета. Это былъ умъ творческій, т. е. умъ по преимуществу дедуктивный. Онъ не изучалъ предметъ, а угадывалъ его. Онъ шелъ не отъ частнаго къ общему, не отъ подробностей къ ансамблю, не отъ частей къ цѣлому, а какъ-разъ противоположнымъ путемъ.

Дальше мы увидимъ этому новыя подтвержденія, а пока достаточно отмѣтить, что эта черта въ шестнадцатилѣтнемъ гимназистѣ выражалась также ярко, какъ и впослѣдствіи въ трид-

чатилѣтнемъ страстномъ гегеліанцѣ. Пензенская гимназія, по разсказу Лажечникова, бывшаго одно время ея директоромъ, какъ образовательное заведеніе, отличалась совершенно невозможнымъ характеромъ. Первая сцена, которую вновь пріѣхавшій директоръ (т. е. Лажечниковъ) встрѣтилъ въ гимназіи — было «погребеніе кота мышами», какъ объяснили ученики: они цѣлой толпой выносили на рукахъ изъ класса мертвецки пьянаго учителя русской словесности. Д. И. Ивановъ споритъ противъ Лажечникова, доказывая, что пензенская гимназія была не хуже другихъ русскихъ гимназій, и въ этомъ спорѣ обѣ стороны правы: пензенская гимназія конечно была ниже всякой критики и ни на волосъ не ниже установившагося типа гимназіи. Бѣлинскому однако, въ силу вѣроятно того, что на ловца и звѣрь бѣжитъ, даже среди преподавателей - «котовъ» удалось встрѣтить человѣка именно такого, какой ему былъ нуженъ въ этомъ фазисѣ его умственнаго состоянія. Это былъ учитель естественной исторіи, преподававшій въ то-же время и словесность въ старшемъ классѣ, М. М. Поповъ—человѣкъ, по всѣмъ признакамъ, далеко недюжинный. Онъ много пережилъ Бѣлинскаго и кончилъ свою карьеру «благополучнымъ россіяниномъ», въ крупномъ чинѣ, послѣ долгой службы, неимѣющей ничего общаго съ «народнымъ просвѣщеніемъ»; но это обстоятельство конечно мало изумитъ читателя, имѣющаго надлежащее представленіе о свойствахъ русской жизни вообще и той эпохи въ особенности. Во всякомъ случаѣ, въ описываемое время Поповъ былъ гораздо болѣе образованнымъ, но столь же пламеннымъ энтузіастомъ, какъ и Бѣлинскій, и между ними установилась самая прочная и—для Бѣлинскаго—въ высшей степени плодотворная связь, основанная на одинаковости умственныхъ стремленій. Поповъ оставилъ разсказъ объ этомъ времени, одинъ изъ лучшихъ разсказовъ для характеристики Бѣлинскаго по тому духу правды, искренности и простоты, который его отличаетъ. Видно, что этотъ тайный совѣтникъ горячо любилъ Бѣлинскаго и разумѣлъ нашего великаго писателя лучше и яснѣе, нежели многіе изъ такъ-называемыхъ друзей Бѣлинскаго. Приведемъ характернѣйшія мѣста изъ его разсказа.

«Бѣлинскій, не смотря на малые успѣхи въ наукахъ и язы-

кахъ, не считался плохимъ мальчикомъ. Многое мимоходомъ запало въ его крѣпкую память; многое онъ понималъ самъ, своимъ пылкимъ умомъ, еще больше въ немъ набиралось свѣдѣній изъ книгъ, которыя онъ читалъ внѣ гимназіи. Бывало, поэкзаменуйте его, какъ обыкновенно экзаменуютъ дѣтей, — онъ изъ послѣднихъ, а поговорите съ нимъ дома, по дружески, даже о точныхъ наукахъ—онъ первый ученикъ. Онъ бралъ у меня книги и журналы — пересказывалъ мнѣ прочитанное, судилъ и рядилъ обо всемъ, задавалъ мнѣ вопросъ за вопросомъ... По лѣтамъ и тогдашнимъ отношеніямъ нашимъ, онъ былъ ровный мнѣ; но не помню, чтобы въ Пензѣ съ кѣмъ-нибудь другимъ я такъ душевно разговаривалъ, какъ съ нимъ, о наукахъ и литературѣ. Домашнія бесѣды наши продолжались и послѣ того, какъ Бѣлинскій поступилъ въ высшіе классы гимназіи. Дома мы толковали о словесности; въ гимназіи онъ съ другими учениками слушалъ у меня естественную исторію. Но въ казанскомъ университетѣ я шелъ по филологическому факультету и русская словесность всегда была моей исключительной страстью. Можете представить себѣ, что́ иногда происходило въ классѣ естественной исторіи, гдѣ передъ страстнымъ, еще молодымъ въ то время, учителемъ сидѣлъ такой же страстный къ словесности ученикъ. Разумѣется, начиналъ я съ зоологіи, ботаники или орнитологіи и старался держаться этого берега, но съ средины, а случалось и съ начала лекціи, отъ меня ли, отъ Бѣлинскаго ли, Богъ знаетъ, только естественныя науки превращались у насъ въ теорію или исторію литературы. Отъ Бюффона-натуралиста я переходилъ къ Бюффону-писателю, отъ Гумбольдтовой географіи растеній къ его «Картинамъ природы», отъ нихъ къ поэзіи разныхъ странъ, потомъ... къ цѣлому міру въ сочиненіяхъ Тацита и Шекспира, къ поэзіи въ сочиненіяхъ Шиллера и Жуковскаго. А гербаризація? Бывало, когда отправлюсь съ учениками за городъ, во всю дорогу, пока не дойдешь до пасѣки, что позади городского гулянья, или до рощи, что за рѣкой Пензой, Бѣлинскій пристаетъ ко мнѣ съ вопросами о Гете, Вальтеръ-Скоттѣ, Байронѣ, Пушкинѣ, о романтизмѣ и обо всемъ, что волновало въ то доброе время наши молодыя сердца.»

Все это было какъ разъ то, что требовалось Бѣлинскому. Эти бесѣды-лекціи, безсистемныя, безпорядочныя, о горячія и содержательныя, приносили Бѣлинскому несравненно болѣе пользы, нежели самое исправное зазубриваніе, что какой нибудь ursus arctos принадлежитъ къ такому-то виду и такому-то семейству и пр. и пр. Типъ такъ называемыхъ «первыхъ учениковъ» нашихъ низшихъ, среднихъ и высшихъ училищъ хорошо всѣмъ извѣстенъ. Это мальчики или юноши съ превосходною памятью и съ чрезвычайно пассивнымъ, лѣнивымъ умомъ, съ огромнымъ прилежаніемъ и безъ малѣйшихъ признаковъ живой любознательности. Они «на зубокъ» знаютъ по Востокову, что «грамматика есть руководство къ правильному употребленію словъ въ разговорѣ и письмѣ»—и двухъ строкъ не напишутъ безъ ошибки; на полный баллъ съ плюсомъ разскажутъ объ ursus'ѣ и не съумѣютъ описать незнающему человѣку медвѣдя.

Бѣлинскій былъ юноша совсѣмъ другого закала. Поповъ съ большою проницательностью подмѣтилъ въ немъ эту черту умственной самостоятельности и самодѣятельности и такимъ образомъ характеризовалъ ее: «Бѣлинскій и въ то время не скоро подавался на чужое мнѣніе. Когда я объяснялъ ему высокую прелесть въ простотѣ, поворотъ къ самобытности и возрастаніе таланта Пушкина, онъ качалъ головой, отмалчивался или говорилъ: «дайте подумаю, дайте еще прочту.» Если же съ чѣмъ онъ соглашался, то, бывало, отвѣчалъ съ страшной увѣренностью: «совершенно справедливо.» Слишкомъ ясно, что даровитому юношѣ нечего было дѣлать въ гимназіи. Ни зубрить учебники, ни «погребать кота» Бѣлинскій былъ не въ состояніи и онъ совершенно логично пересталъ посѣщать гимназію, которая въ свою очередь тоже вполнѣ логично исключила его изъ своихъ нѣдръ «за нехожденіе въ классы».

Ивановъ говоритъ на этотъ счетъ слѣдующее: «назвать Бѣлинскаго плохимъ ученикомъ было невозможно, подозрѣвать его въ лѣни и нерадѣніи было бы грѣхомъ: ни одна минута не пропадала у него даромъ: онъ или читалъ, или списывалъ что нибудь въ тетрадь, или бесѣдовалъ съ дѣльными людьми, или предавался въ одиночку размышленіямъ. Чѣмъ же объяснить охлажденіе его къ ученію и преждевременный, до окон-

чанія курса, выходъ изъ гимназіи? Все это объясняется очень простою причиною: еще въ 1828 году Бѣлинскій задумалъ поступить въ университетъ.»

Такія объясненія ровно ничего не объясняютъ. Неужели для юноши, «задумавшаго поступить въ университетъ», логично и естественно прежде всего забросить гимназическую науку? И неужели преуспѣвавшіе товарищи Бѣлинскаго по гимназіи преуспѣвали потому, что не мечтали объ университетѣ? Бѣлинскаго конечно манилъ университетъ, какъ нѣкоторый центръ серьезной, умственной дѣятельности, но его «нехожденіе въ классы» объясняется, во первыхъ — свойствами гимназической науки, гимназической «учебы», во вторыхъ—особенностями умственной организаціи Бѣлинскаго.

Пыпинъ прекрасно и совершенно справедливо поясняетъ отъ своего лица эту существеннѣйшую сторону дѣла. «Интересъ къ литературѣ—говоритъ г. Пыпинъ—т. е. интересъ къ поэтическому, изящному (мы сказали бы: поэтическому и философскому) былъ у Бѣлинскаго такимъ господствующимъ, что поглощалъ всю его умственную энергію; уже съ этихъ поръ у него не было охоты къ сухимъ и точнымъ изученіямъ, какъ осталось и до конца: онъ отдавался только тому, что затрогивало его идеальные интересы, возбуждало его энтузіазмъ. Оттого «нехожденіе въ классы» въ гимназіи, «нерадѣніе» въ университетѣ. Это вовсе не была лѣнь: напротивъ, онъ былъ чрезвычайно дѣятеленъ въ томъ, что́ его занимало; впослѣдствіи онъ могъ работать до изнеможенія. Нѣтъ спора, что эта односторонность очень вредила ему, ограничивая кругъ его свѣдѣній, въ чемъ его такъ часто упрекали; но такова была его натура: онъ искалъ живого содержанія, которое разрѣшало бы волновавшіе его нравственные вопросы, питало бы его потребности изящнаго. Самыя стремленія его носили поэтическій складъ—оттого онѣ и искали поэтическихъ образовъ и картинъ; отрасли знанія, не касавшіяся идеальныхъ вопросовъ жизни и нравственности, не привлекали его.»

Ясно послѣ этого, что если бы Бѣлинскій и не «задумалъ поступить въ университетъ», онъ въ гимназіи все равно не удержался бы и благополучнаго окончанія курса въ ней не удостоился бы.

Изъ другихъ серьезныхъ эпизодовъ жизни Бѣлинскаго-гимназиста нужно остановиться на его отношеніяхъ къ кружку семинаристовъ, съ которыми онъ жилъ на одной квартирѣ, и на его возникшей любви къ театру.

«Совмѣстное житье съ семинаристами, говоритъ Ивановъ, было благодѣтельно для насъ во многихъ отношеніяхъ. Видя передъ своими глазами суровую, полную патріархальной простоты жизнь этихъ закаленныхъ въ нуждѣ тружениковъ школьнаго ученія, умѣвшихъ довольствоваться самыми малыми средствами, мы невольно учились безропотному перенесенію житейскихъ невзгодъ, мужали и крѣпли духомъ, запасались тою силою, безъ которой невозможна никакая борьба ни съ самимъ собою, ни съ жизнью. Не малую пользу приносили Бѣлинскому оживленные споры и бесѣды семинаристовъ о предметахъ, касавшихся философіи, богословія, общественной и частной жизни; при этихъ спорахъ онъ не всегда былъ только простымъ внимательнымъ слушателемъ, но принималъ въ нихъ и самъ дѣятельное участіе; уже здѣсь изощрялось его діалектическая сила. Семинаристы, жившіе съ нами, считали себя въ литературныхъ познаніяхъ ниже Бѣлинскаго и настолько довѣряли его вкусу, что нерѣдко просили его выслушать школьныя произведенія пера его. Бѣлинскій, бывало, читалъ имъ вслухъ статьи изъ добытыхъ имъ журналовъ, сообщалъ свои мнѣнія, дѣлился впечатлѣніями,—особенными участниками этихъ бесѣдъ были двое изъ семинаристовъ, очень даровитые люди.» Относительно любви къ театру тотъ же Ивановъ говоритъ: «самое лучшее, соединявшее всѣ вкусы удовольствіе доставлялъ театръ; страсть къ нему не была исключительной принадлежностью одного Бѣлинскаго; она въ равной степени овладѣвала всей учащейся молодежью.» Бѣлинскій прибергалъ деньги на театръ, дѣлалъ займы ради той же цѣли,—прибавляетъ г. Пыпинъ—и вообще его любовь къ театру, не будучи его исключительной принадлежностью, была исключительна по своей силѣ и страстности. «Театръ! Любите ли вы театръ такъ, какъ я люблю его, т. е. всѣми силами души вашей, со всѣмъ энтузіазмомъ, со всѣмъ изступленіемъ, къ которому только способна пылкая молодость, жадная и страст-

ная до впечатлѣній изящнаго? Или, лучше сказать, можете ли вы не любить театра больше всего на свѣтѣ, кромѣ блага и истины? О, ступайте, ступайте въ театръ, живите и умрите въ немъ, если можете!» Вотъ какъ писалъ Бѣлинскій нѣсколько лѣтъ спустя въ своей знаменитой статьѣ «Литературныя мечтанія.»

Такимъ образомъ, годы, проведенные Бѣлинскимъ въ пензенской гимназіи, были въ узко-практическомъ смыслѣ временемъ потеряннымъ, но по своему внутреннему значенію этотъ періодъ его жизни долженъ быть отнесенъ къ числу наиболѣе замѣчательныхъ. Это былъ періодъ самой усиленной умственной работы, хотя и въ сторонѣ отъ патентованной науки и безъ всякой помощи съ ея стороны. Не школа, а жизнь формировала Бѣлинскаго; не учебники, а книги; не учителя, а живые люди способствовали его образованію и развитію. Бесѣды съ молодымъ даровитымъ учителемъ, споры и разговоры въ товарищескомъ кружкѣ семинаристовъ, чтеніе и наконецъ театръ—вотъ гдѣ была истинная школа Бѣлинскаго, выработывавшая въ немъ не только взгляды и идеи, но и сообщавшая ему положительныя знанія: развѣ знаніе русской литературы — не научное знаніе? Образъ будущаго «неистоваго Виссаріона» уже ясно проглядываетъ въ скромной фигуркѣ провинціальнаго гимназиста: это «святое недовольство», эта независимость и смѣлость мысли, это отвращеніе и презрѣніе къ торнымъ, рутиннымъ путямъ и наконецъ эта неприспособленность къ жизни, неумѣніе ладить съ ея практическими сторонами и вопросами—все это, только еще въ большей степени, мы найдемъ и въ знаменитомъ критикѣ. У цѣльныхъ и чистыхъ натуръ, какова была натура Бѣлинскаго, могутъ быть крутые и тяжелые умственные переломы, но въ нравственномъ смыслѣ онѣ всегда остаются вѣрными себѣ.

IV.

Бѣлинскій въ университетѣ.

Въ концѣ лѣта 1829 года Бѣлинскій, выдержавъ нетрудный экзаменъ, поступилъ въ число студентовъ московскаго университета. Ему, по его словамъ, только «съ большимъ грѣхомъ удалось съѣхать» изъ своего родного городка, въ которомъ онъ жилъ, послѣ исключенія изъ гимназіи, на рукахъ своихъ родителей. О своемъ поступленіи онъ извѣщалъ своихъ родныхъ въ восторженныхъ выраженіяхъ: «съ живѣйшею радостью и нетерпѣніемъ спѣшу увѣдомить васъ, что принятъ в число студентовъ императорскаго московскаго университета Меня нестолько радуетъ то, что я студентъ, сколько то, что симъ могу доставить вамъ удовольствіе. Я съ своей стороны сдѣлалъ все, что только могъ сдѣлать: я передъ вами оправдался. Тѣмъ болѣе меня радуетъ и восхищаетъ принятіе в университетъ, что я онымъ обязанъ не покровительству и стараніямъ кого-нибудь, но собственно самому себѣ. Хотя Лажечниковъ и просилъ обо мнѣ двухъ профессоровъ, но его просьба потому осталась недѣйствительна, что въ то время, когда я держалъ экзаменъ, вмѣсто ихъ другіе были назначены экзаменаторами.»

Тѣмъ не менѣе Бѣлинскій, къ полнотѣ своего благополучія, былъ принятъ въ число казенныхъ студентовъ, чѣмъ просто и легко разрѣшался мучительный вопросъ о матеріальныхъ средствахъ. Подъ впечатлѣніемъ этой удачи Бѣлинскому все представлялось въ розовомъ свѣтѣ. «Нумера наши, писалъ онъ домой, скорѣе сказать отлично хороши; полы крашеные, окна большія, чистота необыкновенная. Столы (въ столовой) всегда покрываются скатертями

и для всякаго студента особенный приборъ. Въ отношеніи свободы у насъ очень хорошо. Покуда все хорошо». Не болѣе однако какъ черезъ годъ послѣ этого письма Бѣлинскій писалъ о «казенномъ коштѣ» слѣдующее: «я теперь нахожусь въ такихъ обстоятельствахъ, что лучше бы согласился быть подъячимъ въ чембарскомъ земскомъ судѣ, нежели жить на этомъ каторжномъ, проклятомъ казенномъ коштѣ. Если бы я прежде зналъ каковъ онъ, то лучше бы согласился наняться къ кому-нибудь въ лакеи и чищеніемъ сапогъ и платья содержать себя, нежели жить въ немъ.»

Ни большія окна, ни крашеные полы, ни скатерти на столахъ не подкупали уже нашего студента и не могли смягчить суровость его отзыва. Въ чемъ же было дѣло?

Дѣло было въ томъ, что московскій университетъ того времени былъ ни чѣмъ инымъ, какъ гимназіей высшаго ранга. Если пензенскіе гимназисты занимались погребеніемъ котовъ, то нисколько не лучшими дѣлами занимались и тогдашніе студенты московскаго университета. Такъ, однажды, когда одинъ профессоръ, читавшій лекціи по вечерамъ, долженъ былъ придти въ аудиторію, студенты, закутавшись въ шинели, забились по угламъ аудиторіи, слабо освѣщенной лампою, и какъ только профессоръ появился, запѣли заунывно: «се женихъ грядетъ въ полунощи». Въ другой разъ, на лекцію къ тому же профессору принесли воробья и во время лекціи выпустили: воробей припялся летать, а студенты, какъ будто въ негодованіи на нарушеніе порядка, принялись толпою ловить его. Нетрудно понять, какія чувства питали къ такимъ профессорамъ умственно-развитые студенты и въ особенности Бѣлинскій, у котораго какъ разъ съ этимъ «женихомъ въ полунощи» произошло однажды въ аудиторіи курьезное столкновеніе. Профессоръ, въ разгарѣ объясненій, вдругъ обратился къ Бѣлинскому: «что ты, Бѣлинскій, сидишь такъ безпокойно, какъ будто на шилѣ, и ничего не слушаешь? Повтори-ка мнѣ послѣднія слова, на чемъ я остановился?» «Вы остановились на словахъ, что я сижу на шилѣ», отвѣтилъ Бѣлинскій. Профессоръ не понялъ ѣдкой ироніи и, снисходя къ наивности студента, продолжалъ объясненія. Одинъ изъ университетскихъ

декановъ на вопросъ—по какому руководству онъ будетъ читать, отвѣчалъ, что будетъ читать по Пленку—«умнѣе Пленка-то не сдѣлаешься, хоть и напишешь свое собственное руководство». Когда, однажды, при томъ же профессорѣ стали хвалить молодого преподавателя, только что возвратившагося изъ заграницы, онъ замѣтилъ: «ну, не хвалите прежде времени, поживетъ съ нами, такъ поглупѣетъ». Все это факты, и если бы это были не факты, а только анекдоты, то и въ такомъ случаѣ они имѣли бы для насъ значеніе: исторія можетъ преувеличивать, но не можетъ сочинять, и на забытыхъ мертвецовъ никому нѣтъ надобности клеветать.

Послѣ этого разочарованіе Бѣлинскаго въ университетѣ становится совершенно понятнымъ. Хороша была университетская наука, но не хуже были и университетскіе правы и университетскіе порядки и обычаи. Въ письмѣ къ родителямъ Бѣлинскій разсказываетъ одинъ эпизодъ изъ своего личнаго университетскаго опыта: «какъ только я пріѣхалъ,—пишетъ Бѣлинскій,—то ректоръ призвалъ меня въ правленіе и началъ бранить за то, что я поздно пріѣхалъ. Этимъ я обязанъ Перевощикову, который тогда очень помнилъ меня и отрекомендовалъ ректору и Щепкину. Когда ректоръ говорилъ со мною, то онъ (Перевощиковъ) безпрестанно кричалъ, что меня надобно выгнать изъ университета. Наконецъ ректоръ въ заключеніе спектакля сказалъ: замѣтьте этого молодца; при первомъ случаѣ его надобно выгнать. Передъ окончаніемъ холеры я не ночевалъ ночи двѣ или три дома. Прихожу къ Щепкину за однимъ дѣломъ, и онъ начинаетъ меня ругать: говоритъ, что меня за это онъ отдастъ, какъ какого-нибудь каналью, въ солдаты и наконецъ съ презрѣніемъ началъ выгонять изъ своихъ комнатъ... Надѣясь сорваться съ казеннаго кошта, я далъ себѣ клятву все терпѣть и сносить, и потому ничего ему не сказалъ...» Такія «пензенскія» условія университетской жизни привели къ соотвѣтственнымъ результатамъ, и съ Бѣлинскимъ повторилась прежняя исторія: онъ отшатнулся отъ официальной науки и снова обратился къ испытаннымъ источникамъ для утоленія жажды знанія. Между студентами составился кружокъ, о которомъ Бѣлинскій писалъ въ Чембаръ: «для раз-

сѣянія отъ скуки я и еще человѣкъ съ пять затворниковъ составили маленькое литературное общество. Еженедѣльно было у насъ собраніе, въ которомъ каждый изъ членовъ читалъ свое сочиненіе.» Онъ близко сошелся съ П. Я. Петровымъ, впослѣдствіи профессоромъ московскаго университета. «Мы— писалъ Бѣлинскій — часто бываемъ вмѣстѣ, судимъ о литературѣ, наукахъ и другихъ благодарныхъ предметахъ и всегда разстаемся съ новыми идеями. Вотъ дружба, которою я могу по справедливости хвалиться. Съ П. Я. Петровымъ я въ первое свиданіе не говорилъ ни слова, во второе поспорилъ, а въ третье подружился. Что это за человѣкъ! Какія познанія! Какія способности!» Чтеніе и наконецъ театръ, на сценѣ котораго въ то время подвизались такіе артисты какъ Щепкинъ и Мочаловъ, восхищавшіе Бѣлинскаго до послѣдней степени восторга (Щепкинъ—«необыкновенный геній», Мочаловъ— «не человѣкъ, а дьяволъ»—вотъ какъ отзывался о нихъ Бѣлинскій), довершали содержаніе той духовной пищи, которою питался Бѣлинскій. Онъ «какъ на шилѣ» сидѣлъ въ аудиторіяхъ профессоровъ, въ обществѣ которыхъ, по ихъ собственному справедливому признанію, можно было только «поглупѣть», но умъ его работалъ неутомимо—и эта работа шла впрокъ. Старый гимназическій учитель Бѣлинскаго — Поповъ, проѣздомъ черезъ Москву, видѣлся съ нимъ и вынесъ изъ этого свиданія наилучшее впечатлѣніе: «умъ его возмужалъ; въ замѣчаніяхъ его проявлялось много истины. Такъ (въ Москвѣ) прочли мы только-что вышедшаго тогда «Бориса Годунова». Сцена «Келья въ Чудовомъ монастырѣ», на своемъ мѣстѣ, при чтеніи всей драмы, показалась мнѣ еще лучше. Бѣлинскій съ удивленіемъ замѣчалъ въ этой драмѣ вѣрность изображенія времени, жизни и людей, чувствовалъ поэзію въ пятистопныхъ безриѳменныхъ стихахъ, которые прежде называлъ прозаичными; чувствовалъ поэзію и въ самой прозѣ Пушкина. Особенно поразила его сцена «Корчма на литовской границѣ». Прочитавъ разговоръ хозяйки корчмы съ собравшимися у нея бродягами, улики противъ Григорія и бѣгство его черезъ окно, Бѣлинскій выронилъ книгу изъ рукъ, чуть не сломалъ стула, на которомъ сидѣлъ, и восторженно закричалъ: «да это живые: я ви-

дѣлъ, я вижу, какъ онъ бросился въ окно!»... Въ немъ уже проявился критическій взглядъ...

Въ литературно-студенческомъ кружкѣ, о которомъ мы говорили выше, Бѣлинскій выступилъ какъ авторъ трагедіи чрезвычайно романтическаго характера. Какъ литературное произведеніе и при томъ въ родѣ, совершенно несвойственномъ таланту Бѣлинскаго, эта трагедія никакого значенія не имѣетъ. Но общественно-историческій смыслъ ея очень серьезенъ. Насколько можно судить о ней по сохранившемуся отрывку, она живо напоминаетъ собою юношескія драмы Лермонтова; та же горячность чувства при неумѣньи найти для его выраженія надлежащую форму, та же отвлеченность и благородство идеаловъ и—что всего важнѣе—тотъ же страстный протестъ противъ крѣпостного права — главнаго зла тогдашней жизни. Напомнимъ читателю, что драмы Бѣлинскаго и Лермонтова написаны за шестьдесятъ лѣтъ до нашего времени, когда въ мнѣніи однихъ крѣпостное право было чуть ли не божественнымъ установленіемъ, въ мнѣніи другихъ—исторически-сложившимся государственнымъ «устоемъ», въ мнѣніи третьихъ—едва ли устранимымъ зломъ и только во мнѣніи численно-ничтожнаго меньшинства, къ которому принадлежали Бѣлинскій и Лермонтовъ, крѣпостное право являлось въ его настоящемъ свѣтѣ. Двѣ-три тирады персонажей трагедіи дадутъ читателю ясное представленіе о характерѣ произведенія Бѣлинскаго. Вотъ напр. разсказъ стараго слуги о положеніи крестьянъ послѣ смерти барина: «Какъ только онъ скончался, то барыня такъ начала тиранствовать надъ нами, что не дай Господи такого житья лихому татарину ни здѣсь, ни на томъ свѣтѣ. И била какъ собакъ, и отдавала въ солдаты, и пускала по міру, отнимала хлѣбъ, скотъ, осматривала клѣти, ломала коробы, обирала деньги, холстъ; кто малость въ чемъ-нибудь провинится, такъ ушлетъ въ дальнія вотчины. Да всего и пересказать нельзя. На каторгѣ колодникамъ лучше житье-то, чѣмъ намъ, грѣшнымъ, у барыни». Герой трагедіи изливаетъ свои чувства въ слѣдующемъ монологѣ: «Неужели эти люди для того только родятся на свѣтъ, чтобы служить прихотямъ такихъ-же людей, какъ и они сами?... Кто далъ это

гибельное право однимъ людямъ порабощать своей власти волю другихъ, подобныхъ имъ существъ, отнимать у нихъ священное сокровище—свободу? Кто позволилъ имъ ругаться правами природы и человѣчества? Господинъ можетъ, для потѣхи или разсѣянія, содрать шкуру съ своего раба, можетъ продать его какъ скота, вымѣнять на собаку, на лошадь, на корову, разлучить его на всю жизнь съ отцомъ, съ матерью, съ сестрами, съ братьями и со всѣмъ, что для него мило и драгоцѣнно!... Милосердый Боже! Отецъ человѣковъ! отвѣтствуй мнѣ: твоя-ли премудрая рука произвела на свѣтъ этихъ зміевъ, этихъ крокодиловъ, этихъ тигровъ, питающихся костями и мясомъ своихъ ближнихъ, и пьющихъ, какъ воду, ихъ кровь и слезы?» Трагедія Бѣлинскаго во всей русской литературѣ имѣла только одинъ прецедентъ, равный ей по силѣ и искренности чувствъ —это знаменитая книга Радищева, съ которой какъ разъ около этого времени (въ 1833 году) раздражительно полемизировалъ величайшій русскій поэтъ. Тѣмъ конечно трогательнѣе простодушная наивность Бѣлинскаго, мечтавшаго, что трагедія его не только безъ всякаго неудобства можетъ появиться въ печати, но и доставитъ ему «извѣстность и деньги», и именно «шесть тысячъ рублей». Почему именно шесть, а не пять или не семь? Это осталось тайною глубокихъ разсчетовъ нашего великаго практика. Благоразумные люди, начиная съ Лажечникова и кончая чембарскими знакомыми, пророчили Бѣлинскому фіаско, но ихъ предостереженія конечно остались безъ послѣдствій: нужно было, чтобы сама дѣйствительность, непререкаемая и безжалостная, дала Бѣлинскому свой тяжеловѣсный урокъ. За этимъ дѣло не стало, и вотъ какъ Бѣлинскій разсказывалъ объ этомъ:

«Мое сочиненіе не можетъ оскорбить чувства чистѣйшей нравственности и цѣль его есть самая нравственная. Подаю его въ цензуру—и что же вышло?... Прихожу черезъ недѣлю въ цензурный комитетъ и узнаю, что мое сочиненіе цензоровалъ І. А. Цвѣтаевъ (заслуженный профессоръ, статскій совѣтникъ и кавалеръ). Прошу секретаря, чтобы онъ выдалъ мнѣ мою тетрадь; секретарь, вмѣсто отвѣта, подбѣжалъ къ ректору, сидѣвшему на другомъ концѣ стола, и вскричалъ: «Иванъ Алексѣевичъ! Вотъ онъ, вотъ г. Бѣлинскій!» Не буду много рас-

пространяться, скажу только, что несмотря на то, что мой цензоръ, въ присутствіи всѣхъ членовъ комитета, расхвалилъ мое сочиненіе и мои таланты какъ нельзя лучше, оно признано было безнравственнымъ, безчестящимъ университетъ, и о немъ составили журналъ!... Каково это!... Я надѣялся на вырученную сумму откупиться отъ казны, жить на квартирѣ и хорошенько экипироваться — и всѣ мои блестящія мечты обратились въ противную дѣйствительность, горькую и бѣдственную. Лестная сладостная мечта о пріобрѣтеніи извѣстности, объ освобожденіи отъ казеннаго кошта для того только ласкала и тѣшила меня, довѣрчиваго къ ея дѣтскому легкомысленному лепету, чтобы только усугубить мои горести... Теперь, лишившись всѣхъ надеждъ моихъ, я совершенно опустился: все равно. вотъ девизъ мой...»

Это было еще не все. Трагедія была представлена въ цензуру Бѣлинскимъ въ 1831 году, а въ половинѣ 1832 года онъ былъ исключенъ изъ университета «за неспособность». Между этими двумя фактами есть-ли причинная связь? Самъ Бѣлинскій говорилъ объ этомъ глухо: «я — писалъ онъ домашнимъ—не буду говорить вамъ о причинахъ моего исключенія изъ университета: отчасти собственные промахи и нерадѣніе, а болѣе всего долговременная болѣзнь и подлость одного толстаго превосходительства. Нынѣ времена мудреныя и тяжелыя: подобныя происшествія очень не рѣдки...»

Г. Пыпинъ, не смотря на свою осторожность, говоритъ объ дѣлѣ довольно рѣшительно: «окончательной причиной исключенія изъ университета послужила, какъ говорятъ, его трагедія. Цензурныя власти совпадали тогда съ университетскимъ начальствомъ, и неблагопріятное мнѣніе, составленное объ авторѣ пьесы, отразилось на студентѣ. Цензурная власть и ректоръ Двигубскій пригрозилъ студенту за дерзкія мысли. Хотя Бѣлинскій написалъ послѣ домой, что положеніе его улаживается, впечатлѣніе его «дерзости» вѣроятно сохранилось, и по всѣмъ отзывамъ, какіе намъ приходилось читать и слышать, трагедія имѣла положительную роль въ исключеніи его изъ университета».

На нашъ взглядъ не можетъ быть и сомнѣнія, что если

трагедія Бѣлинскаго не была *поводомъ* къ его исключенію, то навѣрное была самою серьезною *причиною* его. Не знаемъ, существовала-ли тогда «неблагонадежность» какъ терминъ, но конечно существовала какъ понятіе, и вотъ за эту то неблагонадежность, замаскированную «неспособностью», Бѣлинскій и подвергся столь тяжкой карѣ. Впрочемъ Бѣлинскій и дѣйствительно былъ «не способенъ» къ самой главной наукѣ—наукѣ *жизни*, въ чичиковскомъ значеніи этого слова. Въ программу университетскихъ знаній эта наука не входила, но тѣмъ не менѣе стояла на первомъ планѣ. Немножко уступчивости, немножко сдержанности, немножко, говоря щедринскимъ выраженіемъ, «теплоты чувствъ» со стороны Бѣлинскаго—и все обошлось бы прекрасно. Онъ могъ писать трагедіи съ какими угодно тенденціями, но пугать и ошеломлять ими старичковъ, боявшихся не только какихъ-нибудь новыхъ идей, но и новыхъ учебниковъ—это конечно было донкихотство. Но въ томъ то и горе донкихотовъ, что они *не могутъ*, даже если бы и хотѣли, хоть на минуту и хоть немножко помолчалинствовать. Они «не способны» на это, какъ не способны ѣсть кирпичи и ходить внизъ головой. «Не ко двору» Бѣлинскій былъ въ своемъ уѣздномъ городишкѣ; «не ко двору» въ гимназіи, «не ко двору» въ университетѣ, да не ко двору и въ русской дѣйствительности, какъ увидимъ дальше: его настоящее мѣсто было въ храмѣ идеала, у подножія богини Истины и онъ бывалъ страненъ, нелѣпъ и смѣшонъ, выходя оттуда, въ своемъ молитвенномъ, благоговѣйно-страстномъ настроеніи, на нашъ базаръ житейской суеты. Причина всѣхъ причинъ и всѣхъ поводовъ къ его исключенію лежала именно здѣсь, въ несоединимыхъ свойствахъ нашей жизни и его нравственной природы. Человѣкъ совершенно посторонній Бѣлинскому въ житейскомъ смыслѣ, но близкій къ нему по нѣкоторымъ нравственнымъ свойствамъ,—князь Одоевскій—разсудилъ его дѣло такимъ образомъ: «У насъ Бѣлинскому учиться было негдѣ, — рутинизмъ нашихъ университетовъ не могъ удовлетворить его логическаго въ высшей степени ума; пошлость большей части нашихъ профессоровъ порождала въ немъ лишь презрѣніе; нелѣпыя преслѣдованія—неизвѣстно за что—развили въ немъ желчь, которая при-

*

мѣшалась въ его своебытное философское развитіе и доводила его безстрашную силлогистику до самыхъ крайнихъ предѣловъ».

«*Неизвѣстно, за что.....*» Это сужденіе такого же идеалиста «не отъ міра сего». Напротивъ, очень понятно и очень извѣстно *за что:* за «неприспособленность», за несоотвѣтствіе условіямъ и характеру жизни. Быть гонимымъ и изгоняемымъ (а впослѣдствіи — прославляемымъ) — это судьба очень многихъ Бѣлинскихъ. Что касается *нашего* Бѣлинскаго, то пароксизмъ отчаянія, овладѣвшаго было имъ («я совершенно опустился: *все равно*, вотъ девизъ мой»), прошелъ скоро и онъ, ровно черезъ годъ послѣ исключенія изъ университета, писалъ своимъ родителямъ: «я нигдѣ и никогда не пропаду, не смотря на всѣ гоненія жестокой судьбы; чистая совѣсть, увѣренность въ незаслуженности несчастій, нѣсколько ума, порядочный запасъ опытности, а болѣе всего нѣкоторая твердость въ характерѣ—не дадутъ мнѣ погибнуть. Не только не жалуюсь на мои несчастія, но еще радуюсь имъ: собственнымъ опытомъ узналъ я, что школа несчастія есть самая лучшая школа. Будущее не страшитъ меня. Перебираю мысленно всю жизнь мою, и хотя съ какимъ-то горестнымъ чувствомъ вижу, что я ничего не сдѣлалъ хорошаго, замѣчательнаго, за то не могу упрекнуть себя ни въ какой низости, ни въ какой подлости, ни въ какомъ поступкѣ, клонящемся ко вреду ближняго...».

V.

Начало литературной дѣятельности Бѣлинскаго.

Въ настоящей работѣ нашей, имѣющей не критическія, а біографическія цѣли, мы не можемъ останавливаться на разборѣ литературныхъ и общественныхъ воззрѣній Бѣлинскаго. Однако мы все таки должны не только разсказать, но и характеризовать, и въ виду этого намъ приходится сдѣлать небольшую экскурсію въ сферу общихъ идей.

Исторія умственнаго развитія Бѣлинскаго раздѣляется на три рѣзко обозначенныхъ періода. Первый періодъ, литературнымъ выраженіемъ котораго явилась у Бѣлинскаго его трагедія, заключается въ «субъективно-нравственной» точкѣ зрѣнія, говоря выраженіемъ самого Бѣлинскаго, въ отвлеченной морализаціи, въ «прекраснодушной войнѣ съ дѣйствительностью» (опять его выраженіе). Основная идея его трагедіи была идея чисто моральная и, если тѣмъ не менѣе она имѣла общественный смыслъ, то это произошло не отъ намѣреній Бѣлинскаго, а отъ свойствъ, присущихъ самому явленію. Бѣлинскій морализировалъ, но тѣмъ самымъ являлся обличителемъ крѣпостного права, противорѣчившаго всякой морали. Мораль стараго завѣта, запрещавшая убивать, красть, лжесвидѣтельствовать, желать дома, скота, имущества ближняго своего, была въ большомъ противорѣчіи съ крѣпостною моралью, а основная заповѣдь новаго завѣта—любить ближняго какъ самого себя—была прямымъ и рѣзкимъ осужденіемъ этой, въ то время господствовавшей морали. Такимъ образомъ, отнюдь не выходя изъ роли морализатора, Бѣлинскій, вольно или невольно, явился протестантомъ противъ дѣйствительности. Этимъ заключился первый фазисъ его развитія.

Очень много хорошихъ людей (а женщины — почти всѣ) навсегда остаются на этой почвѣ абстрактныхъ нравственныхъ идеаловъ и все различіе (иногда очень серьезное, но все таки не основное, не принципіальное) между ними обусловливается тѣми отношеніями, въ которыя они поставляютъ свои идеалы къ дѣйствительности. Одни изъ нихъ вырабатываютъ возможную при данныхъ практическихъ условіяхъ программу личнаго поведенія; другіе истощаются въ призывахъ къ покаянію и къ самосовершенствованію; третьи караютъ порокъ въ лицѣ того или другого порочнаго индивида, типа, класса; четвертые, гдѣ нибудь въ укромномъ уголку, культивируютъ добродѣтель въ сообществѣ двухъ съ половиной единомышленниковъ; пятые прямо указываютъ на невозможность сближенія между ихъ идеаломъ и дѣйствительной жизнью и, опираясь на эту невозможность, отряхаютъ прахъ отъ ногъ своихъ и отходятъ отъ нашей сутолоки и борьбы—съ сарказмомъ, или съ отчаяніемъ, или съ негодованіемъ, или съ проклятіемъ,—глядя по характеру и сообразно съ своимъ темпераментомъ.

Нетрудно видѣть, что эти тысячи различныхъ путей, различныхъ линій лежатъ всѣ, говоря языкомъ математики, въ одной и той же плоскости. Человѣкъ долженъ идти вправо, человѣкъ долженъ идти влѣво, онъ долженъ жить съ людьми, онъ долженъ совершенствоваться въ уединеніи, человѣкъ хорошъ, человѣкъ дуренъ, онъ—рабъ, онъ—царь, онъ—червь, онъ—богъ,—все это совершенно различныя рѣчи, различныя программы, различные пути и средства; но основаніе, корень корней ихъ одинъ и тотъ же: *человѣкъ*, личность, индивидуумъ, разсматриваемый не какъ часть великаго цѣлаго и не какъ продуктъ жизни, а какъ самостоятельный нравственный міръ, которому, для того, чтобы *мочь*, нужно только *захотѣть*. Все въ этихъ теоріяхъ отъ личности исходитъ и къ личности же возвращается. Человѣкъ дуренъ—что дѣлать съ нимъ? *Убѣдить* его, чтобы онъ сталъ лучше, *зажечь* въ немъ вѣру, *укрѣпить* его волю, *возбудить* его энергію, потрясти его сердце, очистить его душу и т. д. и т. д.—вотъ однообразно-разнообразные отвѣты всѣхъ индивидуалистовъ-моралистовъ. Ну, а если *не хочется захотѣть*, какъ говорилъ Черева-

нинъ Помяловскаго? Ну, а если я и радъ бы въ рай, да грѣхи не пускаютъ? Если условія жизни, дѣйствующія въ томъ же направленіи, какъ и мои страсти, постоянно берутъ верхъ надъ моими добрыми намѣреніями?

Обращаясь къ человѣку, говоря о человѣкѣ, имѣя въ виду человѣка, моралисты въ большинствѣ случаевъ именно человѣка-то и забываютъ, *живого* человѣка, т. е. существо не только съ волею, но и со страстями, не только съ разумомъ, но и съ предразсудками, со слабостями. Бѣлинскій-моралистъ могъ бы съ утра до вечера и съ вечера до утра патетически восклицать: «Отецъ человѣковъ! твоя ли рука произвела на свѣтъ этихъ зміевъ, этихъ крокодиловъ, этихъ тигровъ, питающихся костями и мясомъ своихъ ближнихъ, и пьющихъ, какъ воду, ихъ кровь и слезы!» и предполагаемые «тигры» и ухомъ бы не повели на эти изобличенія, потому что какіе же они въ самомъ дѣлѣ тигры? Они — попечительные «отцы»; они — «даровые полиціймейстры»; они — люди по преимуществу «благородные». Они сами объ себѣ такъ думаютъ и, что гораздо важнѣе, объ нихъ такъ думаетъ все общество, ихъ такъ называетъ государство и законъ. «Помилосердуйте, Виссаріонъ Григорьевичъ, могъ бы отвѣтить Бѣлинскому какой нибудь Собакевичъ, за что вы такъ обидно бранитесь? Правда, я отдалъ въ солдаты Неуважай—Корыто и посѣкъ недавно Елизаветъ Воробья, но это для ихъ же пользы: Неуважай спился, а на казенной службѣ его вытрезвятъ, а Воробей—ехиднѣйшая бабенка, которая только языкомъ умѣетъ работать. Не знаете вы нашихъ деревенскихъ дѣлъ, оттого такъ и горячитесь».

Старая и вѣчно новая исторія—эта холодная вода житейской логики и житейской прозы, умѣряющая пылъ всякихъ слишкомъ категорическихъ требованій, всякихъ слишкомъ односторонихъ и отвлеченныхъ идеаловъ! Тѣмъ не менѣе Бѣлинскій, какъ и всякій моралистъ на его мѣстѣ, положить оружіе не могъ, признать себя неправымъ былъ не въ состояніи: пусть нѣтъ звѣрей, но наличность звѣрства все таки не подлежитъ сомнѣнію; пусть никто не «пьетъ какъ воду» человѣческія слезы, но какъ же отрицать, чтоэти слезы ручьями льются? Пусть нѣтъ виноватыхъ, но развѣ нѣтъ вины? Но съ другой

стороны, какая же это вина, въ которой никто не виноватъ? Для Бѣлинскаго, который по своей натурѣ былъ не холоднымъ аналитикомъ, а пламеннымъ борцомъ—эти вопросы имѣли особенно важное значеніе: у него ускользалъ врагъ, съ которымъ онъ долженъ былъ бороться и который ему былъ необходимъ, какъ объектъ для нападеній и изобличеній—любимѣйшей формы его пропаганды.

Вопросы эти заполнили собою всю умственную жизнь Бѣлинскаго и онъ далъ на нихъ, втеченіе своей литературной дѣятельности, два рѣзко между собою несходныхъ отвѣта, содержаніе которыхъ и составило сущность двухъ послѣднихъ, упомянутыхъ нами выше, фазисовъ его развитія. Бѣлинскій точнѣйшимъ образомъ продѣлалъ самолично весь тотъ умственный процессъ, чрезъ который, согласно гегелевскому ученію, должна пройти всякая идея: положеніе (тезисъ), отрицаніе (антитезисъ) и отрицаніе отрицанія (синтезисъ).

Въ міросозерцаніи Бѣлинскаго этотъ процессъ произошелъ въ такой формѣ: *первый фазисъ*—индивидуальная мораль и нравственный законъ въсмыслѣ верховнаго регулятора человѣческихъ дѣйствій и отношеній; *второй фазисъ*—отрицаніе всякой морали, какъ логическій результатъ преклоненія передъ дѣйствительностью и ея разумомъ; *третій* и окончательный *фазисъ*—возвращеніе къ морали въ смыслѣ идеала *общественной справедливости*, съ вытекающею отсюда обязанностью реформировать дѣйствительность въ духѣ этого идеала. Просимъ читателя никогда не упускать этого изъ виду и каждый разъ, когда зайдетъ рѣчь о Бѣлинскомъ, когда онъ услышитъ похвалы или порицанія ему—пусть онъ освѣдомится, о *какомъ* именно Бѣлинскомъ говорится въ данномъ случаѣ. Да, о *какомъ Бѣлинскомъ*, потому что, въ точномъ смыслѣ, мы имѣемъ не одного, а трехъ Бѣлинскихъ: Бѣлинскаго *двадцатыхъ годовъ*—отвлеченно-благороднаго проповѣдника общей человѣческой морали; Бѣлинскаго *тридцатыхъ годовъ*—проповѣдника не только необходимости, но и разумности *всего* существующаго, а стало быть и того, что противорѣчитъ всякой морали, раба и поклонника факта, защитника какихъ угодно безобразій, разъ они реализировались въ дѣйствительности: нако-

нецъ Бѣлинскаго *сороковыхъ годовъ*— умственно и нравственно просвѣтленнаго могучаго дѣятеля, съ вѣрнымъ критеріемъ въ рукахъ, строго и отчетливо разъединяющаго истину отъ лжи, добро отъ зла, дѣятеля, дающаго свою поддержку и санкцію тому лишь, что не только необходимо, но и нравственно справедливо.

Фактически переходъ Бѣлинскаго отъ абстрактно-моральныхъ воззрѣній къ преклоненію передъ «разумной» дѣйствительностью совершился постепенно и начало его нужно искать въ студенческихъ, необыкновенно замѣчательныхъ кружкахъ, организовавшихся въ университетѣ во время пребыванія тамъ Бѣлинскаго. Предоставимъ разсказать объ этихъ кружкахъ г. Пыпину, котораго изложеніе въ этомъ случаѣ не оставляетъ ничего желать.

«Два кружка, въ которыхъ собирались наиболѣе одушевленные юноши, образовались въ одно время; но при общемъ идеализмѣ совершенно расходились въ направленіяхъ. Одинъ кружокъ съ самаго начала увлекался общественными теоріями. Другой кружокъ, образовавшійся около Станкевича, первоначально воспитался прямо на философіи, выслушанной у Павлова и Надеждина, и, увлекаемый заманчивою перспективою рѣшеній для глубочайшихъ вопросовъ человѣческой мысли, отдался искапію этихъ рѣшеній, пренебрегая всѣмъ остальнымъ, какъ ничтожнымъ въ сравненіи съ этими всеобъемлющими вопросами. Оба кружка знали другъ о другѣ, но между ними не было симпатіи: мало понимая другъ друга, одни считали своихъ противниковъ фантазерами, безплодными и безчувственными къ животрепещущимъ вопросамъ общества; тѣ, въ свою очередь, смотрѣли свысока на «политиковъ» и пренебрегали мелкимъ либерализмомъ. «Имъ не нравилось и наше почти исключительно политическое направленіе,—говоритъ современникъ, тогда враждебный кругу Станкевича,—намъ не нравилось ихъ почти исключительно умозрительное. Они насъ считали фрондерами и французами, мы ихъ—сентименталистами и нѣмцами». Бѣлинскій, съ самаго начала увлекавшійся поэтическими и отвлеченно-моральными интересами, рано присоединился къ кругу Станкевича; онъ встрѣчалъ здѣсь тѣ же стремленія, и вмѣстѣ съ

тѣмъ личность Станкевича произвела на него то привлекательное дѣйствіе, вліяніе котораго уцѣлѣло въ Бѣлинскомъ на многіе годы, и которое Станкевичъ производилъ вообще на всѣхъ, съ кѣмъ онъ сближался».

Трудно да и безполезно, вообще говоря, судить о томъ, что было бы, если бы и т. д. Въ данномъ случаѣ однако съ большою долею увѣренности можно сказать, что и для самого Бѣлинскаго, и для насъ, его почитателей, и для всей нашей литературы оказался спасительнымъ тотъ фактъ, что слишкомъ горячій и никакихъ компромиссовъ не переносившій Бѣлинскій очутился подъ примирительнымъ вліяніемъ кружка Станкевича.

Рано умершій Станкевичъ, къ памяти котораго Бѣлинскій и впослѣдствіи относился съ величайшимъ уваженіемъ, принадлежалъ къ числу тѣхъ «прекраснодушныхъ» личностей, которыя живутъ не борьбою, а созерцаніемъ борьбы. Типъ этотъ давно извѣстенъ и великолѣпно обрисованъ и даже оцѣненъ почти двѣ тысячи лѣтъ назадъ любимымъ ученикомъ Христа: «Знаю твои дѣла; ты ни холоденъ, ни горячъ: о, если бы ты былъ холоденъ или горячъ! Но поелику ты теплъ, а не горячъ и не холоденъ, то извергну тебя изъ устъ моихъ» (Апокалипсисъ). Станкевичъ былъ именно такимъ человѣкомъ: не холоднымъ и не горячимъ, а тепловатымъ, человѣкомъ, около котораго было отрадно свѣтло и тепло крошечной горсточкѣ людей, пользовавшихся счастіемъ его дружбы, но отъ котораго собственно обществу не могло быть ни тепло, ни холодно. Какъ есть жрецы «красоты», для которыхъ гравюра, картина, статуэтка важнѣе всѣхъ живыхъ дѣлъ и живыхъ вопросовъ; какъ есть фанатики юридической правды, для которыхъ писаный законъ важнѣе законовъ внутренняго сознанія, точно также есть и поклонники абстракта, готовые воскликнуть—«да восторжествуетъ истина и пусть погибаетъ міръ!» Станкевичъ принадлежалъ именно къ разряду такихъ любомудровъ для любомудрія. Мы не рѣшимся сказать, что ему было «вѣрить, не вѣрить—все равно, лишь бы доказано было умно». Нѣтъ, разумѣется вѣрить, т. е. обладать (въ субъективномъ смыслѣ) истиною для него было пріятнѣе, нежели не вѣрить, т. е. сомнѣваться и искать. Но это былъ для него не вопросъ

жизни и смерти, какъ для Бѣлинскаго, а вопросъ нравственнаго комфорта и умственнаго спокойствія. Станкевичу было уютно и тепло въ его теплицѣ и ничто не тянуло его на широкій вольный свѣтъ, на шумную улицу. Нравственные, внутренніе импульсы были у этого добрѣйшаго человѣка слишкомъ вялы, чтобы подвигнуть его на черный трудъ, на рискъ, на безпокойства и усилія, а внѣшнихъ побужденій у него, человѣка богатаго, не могло быть. Разумна или неразумна дѣйствительность. но собственно по отношенію къ Станкевичу она являлась не мачихой, какъ къ Бѣлинскому, а ласковой и любящей нянюшкой. Это обстоятельство не могло не дѣйствовать на Станкевича подкупающимъ образомъ, какъ бы онъ ни былъ самъ по себѣ гуманенъ, искренъ, чистъ. Станкевича и Бѣлинскаго, ихъ нравственныя физіономіи и ихъ отношеніе къ міру и къ идеаламъ можно бы въ образахъ представить такимъ образомъ: «дѣйствительность разумна или по крайней мѣрѣ не глупа» говоритъ Станкевичъ, аккуратно и спокойно укладывая въ бумажникъ толстыя пачки ассигнацій, только что полученныхъ съ оброчныхъ имѣній. «Дѣйствительность разумна,—отрицать это могутъ только пошляки—да здравствуетъ разумъ, да здравствуетъ дѣйствительность!» — «*неистово*» кричитъ Бѣлинскій изъ всѣхъ силъ своей больной груди, полуодѣтый, полуголодный, рискующій «каждый день умереть съ голоду», по его собственному неложному признанію. Есть разница между такими отношеніями къ дѣлу и есть разница между этими двумя людьми, изъ которыхъ одинъ философствовалъ, тайно потакая своимъ инстинктамъ, а другой философствовалъ явно во вредъ своимъ личнымъ интересамъ. Если—въ чемъ впрочемъ нельзя сомнѣваться—Станкевичъ имѣлъ на Бѣлинскаго нравственное и умственное вліяніе, то это вліяніе имѣло характеръ нѣкоторой политической фонтанели, очень полезной по времени, по мѣсту и по обстоятельствамъ.

Необходимо отмѣтить еще слѣдующее обстоятельство. Незадолго до исключенія Бѣлинскаго, въ университетѣ началъ читать лекціи Надеждинъ, еще ранѣе того заявившій себя журнальными критическими статьями подъ псевдонимомъ Никодима Аристарховича Надоумко. Бѣлинскій усердно посѣщалъ лекціи

Надеждина, какъ прежде усердно читалъ его статьи—и многое изъ философскихъ и литературныхъ взглядовъ Надеждина произвело на Бѣлинскаго сильное впечатлѣніе и было усвоено и переработано имъ. При появленіи статьи Бѣлинскаго «Литературныя мечтанія»—говоритъ г. Пыпинъ—первое впечатлѣніе многихъ товарищей Бѣлинскаго было, что она написана самимъ Надеждинымъ: они встрѣтили въ ней много мыслей, уже знакомыхъ имъ по статьямъ и лекціямъ этого профессора. Спросимъ теперь: кто такой и что такое былъ Надеждинъ? Это былъ человѣкъ сильнаго ума и большой эрудиціи, но въ нравственномъ отношеніи онъ принадлежалъ къ тѣмъ «учителямъ», о которыхъ давно сказано:

Учить, какъ жить, я пять тысячъ беру;
Но жить, какъ учу, десяти не возьму.

Этимъ достаточно сказано. Послѣ изгнанія изъ университета положеніе Бѣлинскаго въ матеріальномъ отношеніи было ужасно и, въ поискахъ за работой, онъ въ эту пору лично познакомился съ Надеждинымъ, который не отказывалъ себѣ въ низкомъ удовольствіи третировать его свысока, но помогалъ ему доставленіемъ переводовъ какихъ-то новѣйшихъ Польдекоковскихъ романовъ. Ясно, что у Надеждина, не смотря на весь его умъ, не было и предчувствія о силахъ Бѣлинскаго и его будущемъ значеніи и онъ относился къ нему, какъ къ литературному чернорабочему. Какъ бы то ни было, идейное вліяніе Надеждина на Бѣлинскаго было очень значительно, даже до того, что г. Пыпинъ называетъ Бѣлинскаго «прямымъ продолжателемъ» Надеждина.

Таковъ былъ умственный запасъ Бѣлинскаго, когда (въ 1834 году) онъ серьезно выступилъ на литературную арену статьею «Литературныя мечтанія. Элегія въ прозѣ», напечатанною въ «Молвѣ». Дебютъ молодого критика былъ блистателенъ. Статья написана съ такою силою убѣжденія и съ такою страстностью пафоса, что производитъ впечатлѣніе даже теперь. Панаевъ (воспоминанія котораго о Бѣлинскомъ вообще являются однимъ изъ надежнѣйшихъ источниковъ для озна-

комленія съ личностью знаменитаго критика) разсказываетъ о впечатлѣніи, которое произвела на него эта статья, при ея появленіи: «начало этой статьи привело меня въ такой восторгъ, что я охотно бы тотчасъ поскакалъ въ Москву познакомиться съ авторомъ ея. Новый, смѣлый, свѣжій духъ ея такъ и охватилъ меня. Не оно-ли, подумалъ я, это новое слово, котораго я жаждалъ, не это ли тотъ самый голосъ правды, который я такъ давно хотѣлъ услышать?»

Что же это была за статья? Мы должны, на сколько возможно, остановиться на ней, потому что въ статьѣ этой находятся тѣ основныя философскія положенія, которыя потомъ Бѣлинскій развивалъ до крайнихъ логическихъ предѣловъ, о чемъ впослѣдствіи не могъ вспомнить безъ стыда и негодованія. Сущность этихъ положеній, на первый взглядъ очень невинная, формулируется Бѣлинскимъ такимъ образомъ:

«Весь безпредѣльный прекрасный Божій міръ есть не что иное какъ дыханіе единой, вѣчной идеи, проявляющейся въ безчисленныхъ формахъ, какъ великое зрѣлище абсолютнаго единства въ безконечномъ разнообразіи. Только пламенное чувство смертнаго можетъ постигать, въ свои свѣтлыя мгновенія, какъ велико тѣло этой души вселенной, сердце котораго составляютъ громадныя солнца, жилы—пути млечные, а кровь—чистый эфиръ. Для этой идеи нѣтъ покоя: она живетъ безпрестанно, то есть безпрестанно творитъ, чтобы разрушать, и разрушаетъ, чтобы творить. Она воплощается въ блестящее солнце, въ великолѣпную планету, въ блудящую комету; она живетъ и дышетъ—и въ бурныхъ приливахъ и отливахъ морей, и въ свирѣпомъ ураганѣ пустынь, и въ шелестѣ листьевъ, и въ журчаньи ручья, и въ рыканіи льва, и въ слезѣ младенца, и въ улыбкѣ красоты, и въ волѣ человѣка, и въ стройныхъ созданіяхъ генія... Кружится колесо времени съ быстротою непостижимою, въ безбрежныхъ равнинахъ неба потухаютъ свѣтила, какъ истощившіеся волканы, и зажигаются новыя; на землѣ проходятъ роды и поколѣнія и замѣняются новыми, смерть истребляетъ жизнь, жизнь уничтожаетъ смерть; силы природы борются, враждуютъ и умиротворяются силами посредствующими, и гармонія царствуетъ въ этомъ вѣчномъ броже-

ніи, въ этой борьбѣ начала и веществъ. Такъ—идея живетъ: мы ясно видимъ это нашими слабыми глазами. Она мудра, ибо все предвидитъ, все держитъ въ равновѣсіи; за наводненіемъ и за лавою ниспосылаетъ плодородіе, за опустошительною грозою чистоту и свѣжесть воздуха, въ пустыняхъ песчаной Аравіи и Африки поселила верблюда и страуса, въ пустыняхъ ледяного Сѣвера поселила оленя. Вотъ ея мудрость, вотъ ея жизнь физическая: гдѣ же ея любовь? Богъ создалъ человѣка и далъ ему умъ и чувство, да постигаетъ сію идею своимъ умомъ и знаніемъ, да пріобщается къ ея жизни въ живомъ и горячемъ сочувствіи, да раздѣляетъ ея жизнь въ чувствѣ безконечной, зиждущей любви! И такъ она не только мудра, но и любяща! Гордись, гордись человѣкъ своимъ высокимъ назначеніемъ, но не забывай, что божественная идея, тебя родившая, справедлива и правосудна, что она дала тебѣ умъ и волю, которые ставятъ тебя выше всего творенія, что она въ тебѣ живетъ, а жизнь есть дѣйствованіе, а дѣйствованіе есть борьба; не забывай, что твое безконечное высочайшее блаженство состоитъ въ уничтоженіи твоего *я* въ чувствѣ любви. И такъ вотъ тебѣ двѣ дороги, два неизбѣжные пути: отрекись отъ себя, подави свой эгоизмъ, попри ногами твое своекорыстное *я*, дыши для счастія другихъ, жертвуй всѣмъ для блага ближняго, родины, для пользы человѣчества, люби истину и благо не для награды, но для истины и блага, и тяжкимъ крестомъ выстрадай твое соединеніе съ Богомъ, твое безсмертіе, которое должно состоять въ уничтоженіи твоего ,*я* въ чувствѣ безпредѣльнаго блаженства!... Что? Ты не рѣшаешься? Этотъ подвигъ тебя страшитъ, кажется тебѣ не по силамъ?... Ну, такъ вотъ тебѣ другой путь, онъ шире, спокойнѣе, легче: люби самого себя больше всего на свѣтѣ; плачь, дѣлай добро лишь изъ выгоды, не бойся зла, когда оно приноситъ тебѣ пользу».

Стоитъ только немного вдуматься въ этотъ отрывокъ, характеризующій всю статью, чтобы замѣтить то переходное умственное состояніе, которое переживалъ его авторъ. Если абсолютная идея выражаетъ себя во всѣхъ безъ исключенія явленіяхъ, *то* всѣ безъ исключенія явленія имѣютъ совершенно одинаковое право на существованіе. Если можно поставить рядомъ рыканья

льва и слезу младенца, то исчезаетъ всякое различіе между вещами не только въ смыслѣ физическаго бытія, но и въ смыслѣ нравственнаго достоинства. Если бы не было мрака—не существовало бы понятія свѣта; мракъ и свѣтъ—различныя формы одной и той же сущности, различныя проявленія одной и той же «единой, вѣчной идеи». Поэзія Пушкина, военныя поселенія, «святыя чудеса запада» и крѣпостное право,—все это только грани одной и той же великой призмы. Всѣ явленія жизни—только конкретныя выраженія абсолютной идеи. А такъ какъ эта идея абсолютно-разумна, то разумны всѣ ея эманаціи, т. е. вся дѣйствительность. И такъ, что дѣйствительно, то разумно, что существуетъ, то и полезно, и мудро, и нравственно, и справедливо.

Какъ видитъ читатель, намъ было достаточно немногихъ строкъ, чтобы отъ положенія Бѣлинскаго логически перейти къ знаменитому положенію Гегеля: до такой степени они близки между собою. Разумѣется, такой логическій и безстрашный мыслитель какъ Бѣлинскій очень скоро сдѣлалъ этотъ шагъ, но собственно въ разсматриваемой нами статьѣ онъ еще воздержался отъ него, потому что въ немъ не умеръ еще ветхій человѣкъ, Бѣлинскій-моралистъ. Такова мудрость этой идеи—говоритъ Бѣлинскій—гдѣ же ея любовь? На этотъ вопросъ онъ отвѣчаетъ совершенно въ духѣ своей трагедіи,—до повторенія даже въ мелочахъ, въ метафорахъ («ползи змѣею между тиграми, бросайся тигромъ между овцами, пей кровь и слезы» и пр.) Индивидуально-нравственный идеалъ опять воздвигается передъ нами и на этотъ разъ совершенно некстати, потому что пантеистическая любовь, распространяясь на все живущее и на все существующее, исключаетъ выборъ, дѣлаетъ не нужнымъ судъ, сглаживаетъ различіе между благомъ и зломъ, красотою и безобразіемъ: надо любить все, всѣхъ и за все. И такъ мудрость «идеи» найдена; любовь ея опредѣлена. Бѣлинскій забылъ только поставить вопросъ о третьемъ аттрибутѣ: гдѣ же ея справедливость? Бѣлинскій додумался и до этого вопроса—но только уже далеко впослѣдствіи.

VI.

Жизнь и дѣятельность Бѣлинскаго въ Москвѣ.

Скажемъ еще разъ: съ внѣшне-біографической стороны жизнь Бѣлинскаго не представляетъ ни матеріала, ни интереса. Періодъ пребыванія Бѣлинскаго въ Москвѣ можетъ быть изложенъ въ нѣсколькихъ строкахъ. Началъ онъ свою литературную дѣятельность въ «Молвѣ», продолжалъ ее въ «Телескопѣ» Надеждина. Послѣ запрещенія «Телескопа» (за извѣстную статью Чаадаева) редактировалъ «Московскій Наблюдатель» и писалъ въ немъ (съ 1838 г.); бѣдствовалъ въ матеріальномъ отношеніи; болѣлъ и ѣздилъ для поправленія здоровья на Кавказъ; въ октябрѣ 1839 года уѣхалъ изъ Москвы въ Петербургъ вслѣдствіе приглашенія сотрудничать въ «Отечественныхъ Запискахъ». Вотъ главныя внѣшне-біографическіе пункты московской жизни Бѣлинскаго, не представляющіе собою, какъ видитъ читатель, ровно ничего замѣчательнаго или поучительнаго. Жизнь Бѣлинскаго съ внѣшней стороны была обыкновеннымъ сѣрымъ существованіемъ русскаго литератора, у котораго рядомъ съ вопросами философіи, искусства, идеаловъ, идутъ вопросы о задѣльной платѣ, о безработицѣ, о кускѣ хлѣба.

Но умственная жизнь била широкимъ и могучимъ ключемъ, не смотря на узость рамокъ. Кружокъ, къ которому все тѣснѣе и тѣснѣе примыкалъ Бѣлинскій и общепризнаннымъ главою котораго былъ Станкевичъ, все болѣе и болѣе углублялся въ вопросы духа, улучшался качественно и возросталъ количественно. Это былъ уже не студенческій кружокъ молодыхъ людей, собиравшихся для совмѣстнаго чтенія хорошихъ книжекъ и собственныхъ «пробъ пера»—это было общество замѣча-

тельныхъ людей, связанныхъ солидарностью воззрѣній и далеко опередившихъ свое общество. Въ составъ кружка, кромѣ Станкевича и Бѣлинскаго, входили такія люди какъ Константинъ Аксаковъ, Бакунинъ, Боткинъ, Кудрявцевъ, Грановскій, Кетчеръ, Красовъ, Клюшниковъ, Строевъ, Катковъ, Ефремовъ. Никакихъ специальныхъ, предуставленныхъ цѣли этотъ кружокъ не преслѣдовалъ; онъ былъ простымъ результатомъ естественнаго тяготѣнія другъ къ другу людей одинаковыхъ понятій и одинаковой степени умственнаго развитія. Нужно перенестись мыслью за шестьдесятъ лѣтъ назадъ, чтобы понять всю необходимость такого явленія какъ наши кружки тридцатыхъ годовъ. Умственные запросы начали пробуждаться въ обществѣ, но никакихъ путей и формъ для удовлетворенія этой потребности почти не существовало. Университеты находились въ жалкомъ положеніи; журналистики не существовало. Интеллигентный человѣкъ былъ одинокъ, слабъ, скоро падалъ духомъ, спивался... Такъ было напр. съ Бѣлинскимъ-отцомъ, но такъ, къ счастью, не было ни съ Бѣлинскимъ-сыномъ, ни съ его друзьями, и въ этомъ дѣлѣ ихъ личнаго спасенія (а стало быть и огромной общественной выгоды) «кружокъ», единеніе, взаимная поддержка и взаимный контроль сыграли огромную роль. Бѣлинскій былъ не справедливъ, когда по распаденіи кружка, живя уже въ Петербургѣ, писалъ въ одномъ письмѣ: «я отъ души радъ, что нѣтъ уже этого кружка, въ которомъ много было прекраснаго, но мало прочнаго, въ которомъ нѣсколько человѣкъ взаимно дѣлали счастіе другъ друга и взаимно мучили другъ друга». Очевидно, это слишкомъ субъективная оцѣнка, подъ вліяніемъ боли еще незажившихъ ранъ. Но дѣло было не въ этихъ ранахъ, равно какъ и не въ «счастіи», доставляемомъ кружкомъ, а въ его умственно-развивательной и нравственно-презервативной роли.

«Бѣлинскій—говоритъ г. Пыпинъ—не занималъ въ кружкѣ перваго мѣста: онъ уступалъ однимъ въ силѣ теоретической мысли, другимъ—въ объемѣ свѣдѣній, но конечно превышалъ всѣхъ энергіей чувства, искренностью и полнотою убѣжденія, съ какими онъ въ каждомъ данномъ моментѣ отдавался своимъ идеямъ и которыя сдѣлали то, что именно онъ изъ Бѣ-

лаго кружка и явился въ литературѣ представителемъ его содержанія и исторической заслуги».

Все это справедливо, за исключеніемъ однако того замѣчанія, что энергія чувства и полнота убѣжденія сдѣлали Бѣлинскаго литературнымъ представителемъ кружка: не энергія, а огромный литературный талантъ доставили ему эту роль представителя и выразителя, талантъ, которымъ Бѣлинскій далеко превосходилъ всѣхъ безъ исключенія членовъ *московскаго* кружка. Энергія чувства и полнота убѣжденія — только элементы таланта, но далеко не вся его сущность. Членъ кружка, обозначаемый обыкновенно г. Пыпинымъ иниціалами, едва ли уступалъ Бѣлинскому въ энергіи убѣжденія, но онъ плохо владѣлъ литературной формой, которой Бѣлинскій наоборотъ обладалъ въ совершенствѣ. Можно знать превосходно исторію и теорію музыки, не будучи музыкантомъ, но не имѣя голоса, нельзя быть пѣвцомъ. Можно сказать съ полною увѣренностью, что если бы въ составѣ кружка не было Бѣлинскаго, кружокъ не получилъ бы и четвертой доли того общественно-историческаго значенія, какое за нимъ признается благодаря именно тому, что онъ имѣлъ въ лицѣ Бѣлинскаго высоко-талантливаго популяризатора своихъ воззрѣній и теорій. Сколько бы ни защищалъ г. Пыпинъ Станкевича и какъ бы самъ Бѣлинскій ни превозносилъ своего друга, остается совершенно несомнѣннымъ, что Станкевичъ былъ не болѣе какъ «мужъ госпожи Тедеско», интимный другъ *нашего* друга, авторитетъ *нашего* авторитета. Вычеркните изъ біографіи Бѣлинскаго даже самое имя Станкевича и она только сократится на нѣсколько эпизодовъ, ни на волосъ не утративши своего значенія, но вычеркните изъ біографіи Станкевича имя Бѣлинскаго и она потеряетъ почти всякій raison d'être: «по какому случаю шумъ?» съ полнымъ правомъ спросимъ мы тогда. Кто такой господинъ Станкевичъ? Въ чемъ заключаются его общественныя заслуги? Да, мы согласны, что Бѣлинскій «не занималъ въ кружкѣ перваго мѣста», какъ не занималъ его и въ школѣ. Но какъ о чембарскомъ уѣздномъ училищѣ и его учителяхъ мы говорили потому только, что тамъ училъ *не первый ученикъ* Бѣлинскій, такъ, или по крайней мѣрѣ въ извѣстной степени такъ, мы разсуждаемъ теперь и о москов-

скомъ кружкѣ потому главнымъ образомъ, что въ немъ былъ Бѣлинскій, не занимавшій въ немъ «перваго мѣста». Бѣлинскій не былъ бархатно-мягокъ какъ Станкевичъ, не умѣлъ импонировать какъ Бакунинъ, не бахвалился и не лѣзъ на пьедесталъ, какъ лѣзъ самый молодой—изъ молодыхъ да ранній—членъ кружка, а эти качества, сами по себѣ или безразличныя или прямо отрицательныя, зачастую сильнѣе всего содѣйствуютъ полученію «перваго мѣста». Станкевичъ былъ всеобщимъ любимцемъ и конфидентомъ своихъ друзей, его роль была ролью нѣкотораго нравственнаго центра и цемента кружка. Съ большимъ вѣроятіемъ можно сказать, что безъ него не было бы и кружка, но однако и безъ кружка мы имѣли бы тѣхъ же: критика Бѣлинскаго, профессоровъ Грановскаго и Кудрявцева и т. д.

Кромѣ Станкевича, Бѣлинскій очень близко сошелся съ В. Боткинымъ, котораго вліяніе на него было довольно значительно. Человѣкъ безспорно очень умный и начитанный, Боткинъ въ нравственномъ смыслѣ принадлежалъ къ числу тѣхъ «благороднѣйшихъ» людей, которые сіяютъ благородствомъ лишь до перваго серьезнаго испытанія и за которыхъ никогда нельзя поручиться, что они не кончатъ совершенно инымъ образомъ. Это люди съ воззрѣніями, но безъ убѣжденій. Они достаточно умны для того, чтобы самостоятельно составить для своего обихода отчетливый взглядъ на какое угодно сложное явленіе, но судьбою этого взгляда они дорожатъ немного болѣе, чѣмъ судьбою того мягкаго дивана, на которомъ они, философствуя, возлежатъ. Нѣтъ эгоистовъ хуже ихъ, и нѣтъ эпикурейства болѣе надменнаго и злостнаго, нежели ихъ самоуслаждающееся существованіе. Въ недавно опубликованныхъ (въ «Русскомъ Обозрѣніи») письмахъ Тургенева къ г. Фету есть слѣдующее замѣчательное мѣсто: «получилъ—пишетъ Тургеневъ—отъ этого франта (т. е. отъ Боткина) письмо изъ Парижа, въ которомъ онъ меня увѣдомляетъ, что ѣдетъ въ ноябрѣ въ Петербургъ и что у него происходитъ бурчаніе въ животѣ». Тутъ полная характеристика Боткина. «Бурчаніе въ животѣ»—это для Боткина такой фактъ, о которомъ стоитъ подумать, который стоитъ записать

и о которомъ стоитъ сообщить своему другу какъ о дѣлѣ большой важности. И это для Боткина логично. Кто ставитъ себя центромъ міра (какъ всякій послѣдовательный эгоистъ), тотъ не можетъ не придавать огромнаго значенія состоянію своего собственнаго центра.

Въ нашей характеристикѣ нѣтъ ни малѣйшей утрировки и мы могли бы, если бы имѣли достаточно мѣста, обосновать ее документально. И вотъ такой то человѣкъ, вмѣстѣ съ Станкевичемъ, пользовался интимною дружбою, довѣріемъ и уваженіемъ Бѣлинскаго и вліялъ на него! Мы вовсе не расположены изображать Бѣлинскаго въ видѣ какого-то ротозѣя, который могъ глядѣть чужими глазами и думать чужимъ умомъ. Однако самъ Бѣлинскій сказалъ: «я бралъ мысли готовыя, какъ подарокъ; но этимъ не все оканчивалось, и при одномъ этомъ я ничего бы не пріобрѣлъ: жизнью моею, цѣною слезъ, воплей души, усвоилъ я себѣ эти мысли и онѣ вошли глубоко въ мое существо». Позволительно спросить: чѣмъ вызывались эти слезы, какая была причина этихъ воплей души? Эти слезы отнюдь не были радостными слезами неофита, впервые узрѣвшаго истину,—эти слезы были свидѣтельствомъ мученія благородной натуры и любвеобильнаго сердца, возстававшихъ противъ насильственно къ нимъ прививаемыхъ ученій.

Чего стоило Бѣлинскому это насиліе, во имя мнимыхъ велѣній разума, надъ своею натурою и надъ своими интересами, видно изъ его слѣдующихъ словъ: «я мало принесъ жертвъ для мысли, или, лучше сказать, только одну принесъ для нея жертву—готовность лишаться самыхъ задушевныхъ субъективныхъ чувствъ для нея». *Мало* жертвъ, *одну* жертву—это, мимоходомъ замѣтить, характеризуетъ постоянный, а не случайный взглядъ на самого себя Бѣлинскаго. Это было не то смиреніе, которое паче гордости, не гоголевское напр. фарисейское смиреніе, это было выраженіе преклоненія передъ идеаломъ, въ сравненіи съ которымъ конечно всякій человѣкъ малъ и всякіе труды и жертвы недостаточны, это было наконецъ выраженіе того горькаго сознанія ограниченности человѣческихъ силъ, которое давнымъ давно уже имѣло знаменитую формулу: «я знаю только

то, что ничего не знаю». Но греческій мудрецъ говорилъ объ этомъ съ спокойнымъ объективизмомъ, а нашъ «великій самоучка» говорилъ то-же самое съ покаяннымъ чувствомъ самоосужденія. Но это—въ скобкахъ. И такъ, *одна* жертва, которая заключалась... въ чемъ? Въ отказѣ отъ «самыхъ задушевныхъ субъективныхъ чувствъ»! Въ переводѣ на простой языкъ это значитъ вотъ что: единственная, *малая* жертва Бѣлинскаго состояла въ подавленіи своей совѣсти. «*Задушевныя* субъективныя чувства», о которыхъ говоритъ Бѣлинскій—это чувство сострадательности къ тому, что «несчастно, голодно и бѣдно, что ходитъ голову склоня», чувство справедливости, чувство наконецъ своего личнаго, безпрестанно разумною дѣйствительностью оскорбляемаго достоинства, словомъ всѣ чувства и инстинкты альтруистическаго свойства, совокупность которыхъ и есть то, что мы называемъ совѣстью. Вотъ какою *малою* цѣною доставались Бѣлинскому его воззрѣнія, вотъ къ какимъ нравственнымъ результатамъ привело его слѣпое довѣріе къ руководительству отвлеченной мысли, не согрѣтой лучемъ непосредственнаго человѣческаго чувства. Мы приведемъ изъ писемъ Бѣлинскаго, напечатанныхъ въ книгѣ г. Пыпина, два отрывка, въ которыхъ хорошо резюмируются его тогдашніе философскіе и политическіе взгляды. Вотъ документъ по первому пункту:

«Внѣ мысли все—призракъ, мечта; одна мысль существенна и реальна. Что такое ты самъ? Мысль, одѣтая тѣломъ; тѣло твое сгніетъ, но твое *я*—останется; слѣдовательно, тѣло твое есть призракъ, мечта, но *я* твое существенно и вѣчно. Философія—вотъ что должно быть предметомъ твоей дѣятельности. Философія есть наука идеи чистой, отрѣшенной; исторія и естество знаніе суть науки идеи въ явленіи. Теперь спрашиваю тебя: что важнѣе—идея или явленіе, душа или тѣло? Идея ли есть результатъ явленія, или явленіе есть результатъ идеи? Безъ сомнѣнія, явленіе есть результатъ идеи. Если такъ, то можешь ли ты понять результатъ, не зная его причины? Можетъ ли для тебя быть понятна исторія человѣчества, если ты не знаешь, что́ такое человѣкъ, что́ такое человѣчество? Вотъ почему философія есть начало и источникъ всякаго знанія, вотъ почему безъ философіи всякая наука мертва, непонятна и нелѣпа. Только въ ней (въ философіи) ты найдешь

отвѣты на вопросы души твоей, только она дастъ миръ и гармонію душѣ твоей и подаритъ тебя такимъ счастіемъ, какого толпа и не подозрѣваетъ и какого внѣшняя жизнь не можетъ ни дать тебѣ, ни отнять у тебя. Ты будешь не въ мірѣ, но весь міръ будетъ въ тебѣ. Въ самомъ себѣ, въ сокровенномъ святилищѣ своего духа найдешь ты высшее счастіе, и тогда твоя маленькая комнатка, твой убогій и тѣсный кабинетъ будетъ истиннымъ храмомъ счастія. Ты будешь свободенъ, потому что не будешь ничего просить у міра, и міръ оставитъ тебя въ покоѣ, видя, что ты ничего у него не просишь. Пуще всего оставь политику и бойся всякаго политическаго вліянія на свой образъ мыслей. Политика у насъ въ Россіи не имѣетъ смысла, и ею могутъ заниматься только пустыя головы. Люби добро, и тогда ты будешь необходимо полезенъ своему отечеству, не думая и не стараясь быть ему полезнымъ. Еслибы каждый изъ индивидовъ, составляющихъ Россію, путемъ любви дошелъ до совершенства,—тогда Россія безъ всякой политики сдѣлалась бы счастливѣйшею страною въ мірѣ».

Что тутъ сказать? Можно сказать, пожалуй, à la Собакевичъ, что тѣло человѣческое «нѣтъ, не мечта»; можно сказать далѣе, что философія, награждающая философа такимъ «счастіемъ», при которомъ приходится «лишаться самыхъ задушевныхъ субъективныхъ чувствъ»—философія чрезвычайно подозрительная и «счастіе», даваемое ею, хуже всякаго несчастія; можно замѣтить еще, что конечно, «если бы каждый изъ индивидовъ, составляющихъ Россію, путемъ любви дошелъ до совершенства», то Россія «сдѣлалась бы счастливѣйшею страною», это просто, какъ азбука, и вѣрно, какъ таблица умноженія. Но лучше все таки эти совершенно вѣрныя мысли предоставить въ собственность Манилова и Кифы Мокіевича. Многое еще можно было бы сказать по поводу приведеннаго отрывка, но для характеристики достаточно и сказаннаго. Обозвавши «пустыми головами» всѣхъ русскихъ людей, занимавшихся политикой, Бѣлинскій представляетъ однако свою политическую программу:

«Россія не изъ себя разовьетъ свою гражданственность и свою свободу, но получитъ то и другое отъ своихъ царей, такъ, какъ уже много получила отъ нихъ того и другого. Правда, мы еще не имѣемъ правъ, мы еще рабы, если угодно; но это от-

того, что мы еще должны быть рабами. Россія еще дитя, для котораго нужна нянька, въ груди которой билось бы сердце, полное любви къ своему питомцу, а въ рукѣ которой была бы лоза, готовая наказывать за шалости. Дать дитяти полную свободу — значитъ погубить его. Дать Россіи, въ теперешнемъ ея состояніи, конституцію—значитъ погубить Россію! Въ понятіи нашего народа, свобода есть воля, а воля—озорничество. Не въ парламентъ пошелъ бы освобожденный русскій народъ, а въ кабакъ побѣжалъ бы онъ пить вино, бить стекла и вѣшать дворянъ, которые брѣютъ бороду и ходятъ въ сюртукахъ, а не въ зипунахъ, хотя бы впрочемъ у большей части этихъ дворянъ не было ни дворянскихъ грамотъ, ни конѣйки денегъ. Вся надежда Россіи на просвѣщеніе, а не на перевороты, не на революціи и не на конституціи. Во Франціи были двѣ революціи и результатомъ ихъ конституція—и что же? въ этой конституціонной Франціи гораздо менѣе свободы мысли, нежели въ самодержавной Пруссіи. И это оттого, что свобода конституціонная есть свобода условная, а истинная, безусловная свобода настаетъ въ государствѣ съ успѣхами просвѣщенія, основаннаго на философіи, на философіи умозрительной, а не эмпирической, на царствѣ чистаго разума, а не пошлаго здраваго смысла. Гражданская свобода должна быть плодомъ внутренней свободы каждаго индивида, составляющаго народъ, а внутренняя свобода пріобрѣтается сознаніемъ. И такимъ-то прекраснымъ путемъ достигнетъ свободы наша Россія. И такъ оставимъ идти дѣламъ, какъ они идутъ, и будемъ вѣрить свято и напреложно, что все идетъ къ лучшему, что существуетъ одно добро, что зло есть понятіе отрицательное и существуетъ только для добра, а сами обратимъ вниманіе на себя, возлюбимъ добро и истину, путемъ науки будемъ стремиться къ тому и другому».

Приведя эти письма, г. Пыпинъ весьма умѣстно напоминаетъ, что «это примирительное направленіе, это довольство русской дѣйствительностью высказалось именно тогда, когда эта дѣйствительность была къ Бѣлинскому всего суровѣе, потому что въ это время его матерьяльныя обстоятельства были ужасны». Хорошей иллюстраціей къ этому замѣчанію г. Пыпина можетъ

служить одна сцена, разсказанная Панаевымъ въ его «Воспоминаніяхъ о Бѣлинскомъ». Бѣлинскій приготовилъ для «Отечественныхъ Записокъ» статью, которую и прочиталъ Панаеву, пріѣхавшему на то время въ Москву.

«Лихорадочное увлеченіе, съ которымъ читалъ Бѣлинскій, языкъ этой статьи, исполненный странной торжественности и напряженнаго пафоса, произвелъ во мнѣ нервное раздраженіе... Бѣлинскій самъ былъ явно раздраженъ первически.

– «Удивительно! превосходно! повторялъ я во время чтенія и по окончаніи его;—но я вамъ замѣчу одно...

«Я знаю что,—не договаривайте, перебилъ меня съ жаромъ Бѣлинскій,—меня назовутъ льстецомъ, подлецомъ, скажутъ, что я кувыркаюсь передъ властями... Пусть ихъ! Я не боюсь открыто и прямо высказывать свои убѣжденія, что бы обо мнѣ ни думали...

«Онъ началъ ходить по комнатѣ въ волненіи.

Да! это мои убѣжденія, продолжалъ онъ, разгорячаясь болѣе и болѣе... Я не стыжусь, а горжусь ими... И что мнѣ дорожить мнѣніемъ и толками чортъ знаетъ кого? Я только дорожу мнѣніемъ людей развитыхъ и друзей моихъ... Они не заподозрятъ меня въ лести и подлости. Противъ убѣжденій никакая сила не заставитъ меня написать ни одной строчки... они знаютъ это... Подкупить меня нельзя... Клянусь вамъ, Панаевъ,—вы вѣдь еще меня мало знаете...

«Онъ подошелъ ко мнѣ и остановился передо мною. Блѣдное лицо его вспыхнуло, вся кровь прилила къ головѣ, глаза его горѣли.

– «Клянусь вамъ, что меня нельзя подкупить ничѣмъ... Мнѣ легче умереть съ голода—я и безъ того рискую эдакъ умереть каждый день (и онъ улыбнулся при этомъ съ горькой ироніей), чѣмъ потоптать свое человѣческое достоинство, унизить себя передъ кѣмъ бы то ни было, или продать себя...

«Разговоръ этотъ со всѣми подробностями живо врѣзался въ мою память. Бѣлинскій какъ будто теперь передо мною...

Хотѣлось бы намъ, чтобы эта сцена также «врѣзалась въ память» и нашего читателя... Это было бы хорошо не только потому, что личность Бѣлинскаго получила бы вѣрное освѣщеніе,

но также и потому, что всѣмъ и всегда полезно во-очію увидѣть, что дѣйствительно не единымъ хлѣбомъ живетъ человѣкъ, что идеальные интересы—не выдумка и не фраза, что «живъ Богъ нашъ и жива душа наша». Въ эпохи, когда равнодушіе къ истинѣ является основной характеристической чертой—это полезно въ особенности.

Строй идей, овладѣвшихъ Бѣлинскимъ въ этотъ періодъ его развитія, отразился на его литературной дѣятельности гораздо слабѣе, чѣмъ можно было ожидать. Этому способствовалъ цѣлый рядъ обстоятельствъ, изъ которыхъ мы укажемъ на два, по нашему мнѣнію, наиболѣе важныя. Внутренній огонь, сжигавшій Бѣлинскаго, та потребность высказаться, которая сопровождаетъ каждое дѣйствительное убѣжденіе, въ значительной степени удовлетворялась Бѣлинскимъ не путемъ литературной проповѣди, а посредствомъ интимной бесѣды и переписки съ своими друзьями—главнымъ образомъ съ Боткинымъ и Станкевичемъ. Письма Бѣлинскаго къ этимъ лицамъ достигали иногда размѣра цѣлыхъ статей, въ которыхъ Бѣлинскій давалъ полную волю и своей мысли, и своему языку *). Другое обстоятельство заключалось въ особенностяхъ тогдашней литературы. Бѣлинскій, какъ критикъ, былъ чрезвычайно счастливъ въ томъ отношеніи, что современная ему русская литература блистала богатствомъ первоклассныхъ художественныхъ талантовъ: Пушкинъ былъ въ полномъ развитіи силъ, только что сошелъ со сцены Грибоѣдовъ, выступили Гоголь, Кольцовъ, Лермонтовъ, а вскорѣ за ними Тургеневъ, Некрасовъ, Григоровичъ, Гончаровъ, Достоевскій, не говоря уже о второстепенныхъ поэтахъ, какъ Полежаевъ, и второстепенныхъ беллетристахъ, какъ Панаевъ. Какое неистощимое поле для критики, какое богатство благодарнѣйшихъ темъ! Бѣлинскій разсматриваемаго нами періода, согласно общему духу своего тогдашняго міросозерцанія.

---

*) Значительное количество этихъ писемъ собрано и напечатано г. Пыпинымъ въ его книгѣ о Бѣлинскомъ, которую мы вообще усердно рекомендуемъ *нашему* читателю, если онъ еще не знакомъ съ нею.

держался въ критикѣ принциповъ чистой эстетики. Его девизъ былъ «искусство для искусства», его основнымъ требованіемъ было требованіе отъ художника объективности. Казалось бы—какихъ добрыхъ результатовъ можно было ожидать отъ критики, построенной на столь мертвенныхъ началахъ? И однакоже дѣятельность Бѣлинскаго въ московскихъ журналахъ имѣла огромное значеніе. Не о томъ говоримъ мы, что статьи Бѣлинскаго, страстно-одушевленныя, патетическія, дѣйствовали на читателя, независимо отъ своего содержанія, самымъ тономъ своимъ, возбуждали дѣятельность мысли, зажигали сердца и умы—это подразумѣвается само собою. Мы утверждаемъ, что критика Бѣлинскаго того времени принесла огромную пользу по самому содержанію своихъ ученій, не смотря на ихъ ошибочность. Основная задача, стоявшая тогда въ литературѣ на очереди, состояла въ томъ, чтобы расчистить путь тому реалистическому направленію, которое, въ лицѣ Гоголя, дѣлало свои первые, неувѣренные шаги. Сущность и будущее общественное значеніе этого направленія предугадать въ то время было слишкомъ мудрено, но были и тогда люди, которые почувствовали «новое слово» въ столь, повидимому, безхитростныхъ бездѣлкахъ, какъ первыя повѣсти Гоголя—и впереди всѣхъ между этими людьми стоялъ Бѣлинскій. Какъ эстетикъ, онъ доказывалъ въ «Телескопѣ» (статья «О русской повѣсти и повѣстяхъ Гоголя»), что повѣсти Гоголя—эстетически прекрасны, художественны, что «Гоголь—поэтъ, поэтъ жизни дѣйствительной» и т. д. Это и было какъ разъ то, что требовалось. Надо было привлечь вниманіе и сочувствіе общества къ новому явленію— и это Бѣлинскій сдѣлалъ положительно своими критическими статьями; надо было далѣе оборонять литературнаго новатора (самъ по себѣ Гоголь былъ совершенно беззащитенъ) отъ злобныхъ нападокъ литературныхъ старовѣровъ и ихъ прихвостней—и это Бѣлинскій сдѣлалъ отрицательно, съ большимъ полемическимъ усердіемъ и съ большою ловкостью осмѣивая литературныхъ противниковъ Гоголя. Бѣлинскій остался бы непонятымъ и неуслышаннымъ, если бы, опережая время, сталъ говорить о картинахъ русской жизни Гоголя не какъ о картинахъ, не какъ только и исключительно о художественныхъ произведеніяхъ, а

по ихъ содержанію, по ихъ горькому внутреннему смыслу. Къ счастію, да, *къ счастью*, поклоннику разумности дѣйствительности слишкомъ мудрено было прозрѣть этотъ смыслъ въ фигурахъ Пирогова, Ивана Ивановича, Ивана Никифоровича, Пульхеріи Ивановны и т. д. Онъ толковалъ объ ихъ общечеловѣческомъ содержаніи, восхищался «народностью», оригинальностью, юморомъ Гоголя и *пока* этого было вполнѣ достаточно. Для того чтобы подойти къ вопросу: «чего смѣетесь? надъ собой смѣетесь!» надо было прежде признать, что въ разумной дѣйствительности не все разумно—а это было у Бѣлинскаго еще впереди.

VII.

Жизнь и дѣятельность Бѣлинскаго въ Петербургѣ.

Мы упомянали уже о томъ, что, по запрещеніи «Телескопа», Бѣлинскій взялся за редактированіе «Московскаго Наблюдателя»—захудалаго журнальца, издававшагося нѣкіимъ Степановымъ, человѣкомъ совершенно непричастнымъ литературѣ. Журналъ не пошелъ, денегъ на изданіе не было и положеніе Бѣлинскаго было крайнее. Краевскій какъ разъ въ это время организовалъ редакцію для пріобрѣтенныхъ имъ отъ Свиньина «Отечественныхъ Записокъ», и Бѣлинскій обратился къ Панаеву, хорошо знавшему Краевскаго, съ просьбою сблизить его съ новымъ журналомъ. Разсказъ Панаева объ этомъ дышетъ такой правдой и такъ хорошо обрисовываетъ еще одну сторону Бѣлинскаго—его крайнюю непрактичность,—что мы не пожалѣемъ для него здѣсь мѣста. Вотъ этотъ разсказъ.

«Нѣтъ, сказалъ Бѣлинскій,—мнѣ, во что бы ни стало, надобно вонъ изъ Москвы... Мнѣ эта жизнь надоѣла и Москва опротивѣла мнѣ. Что, какъ вы думаете, можно будетъ какъ нибудь уломать жида-Краевскаго?

«Надобно сказать, что Бѣлинскій въ первые же дни нашего знакомства, сообщая мнѣ о погибели «Наблюдателя», объявилъ, что онъ не прочь былъ бы переѣхать въ Петербургъ и принять на себя критическій отдѣлъ въ «Отечественныхъ Запискахъ». Я не скрылъ отъ него, какъ Краевскій отзывается объ немъ.

— «Онъ вполнѣ надѣется, прибавилъ я,—что Межевичъ оживитъ его журналъ своей критикой, и я оставилъ ихъ въ самомъ пріятномъ и дружескомъ расположеніи.

Бѣлинскій горько улыбнулся.

— Ну, нечего сказать, хорошъ вашъ Краевскій!.. Да вѣдь этотъ Межевичъ — безталантнѣйшій смертный, совершенная гунница... Межевичъ ничего не можетъ сдѣлать, ему понадобится непремѣнно другой человѣкъ; а вы, между тѣмъ, напишите ему, что я не прочь... разумѣется, за хорошее вознагражденіе; напишите, что у меня есть статья о «Менцелѣ» — и расхвалите ее, разумѣется, какъ можно больше и что эту статью я предназначаю для его журнала... Она еще не написана,— ну, да это все равно. Сблизьте меня какъ нибудь съ нимъ, да обдѣлайте это дѣло половчѣе... Не говорите ему объ моей нищетѣ; онъ, пользуясь этимъ, еще пожалуй прижметъ меня.»

Какая, подумаешь, необычайная «тонкость обращенія»! Сколько дипломатіи обнаруживаетъ этотъ критикъ-Макіавелли и каково придется бѣдному редактору въ сношеніяхъ съ такимъ хитрѣйшимъ сотрудникомъ! Панаевъ сдѣлалъ свое дѣло, и какъ только Бѣлинскій вступилъ въ непосредственныя сношенія съ Краевскимъ, всѣ его бѣлыми нитками сшитыя хитрости пошли прахомъ: онъ сейчасъ же забралъ у Краевскаго денегъ впередъ на уплату долговъ и на отъѣздъ изъ Москвы и *за одну тысячу руб. сер. въ годъ* принялъ на себя весь критическій и библіографическій отдѣлъ «Отечественныхъ Записокъ». Вотъ это называется ловко обдѣлать выгодное дѣло! Андрей Краевскій не имѣлъ ни малѣйшей роли въ развитіи понятій и идей Бѣлинскаго и мы на его личности останавливаться не намѣрены. Это былъ не мыслитель, а дѣлецъ; не литераторъ, а литературный антрепренеръ. Его отношенія къ Бѣлинскому совершенно походили на отношенія главноуправляющаго къ Пьеру Безухому въ романѣ «Война и миръ» Толстого: «главноуправляющій, весьма глупый и хитрый человѣкъ, совершенно понималъ умнаго и наивнаго графа и игралъ имъ какъ игрушкой». Бѣлинскій былъ наивенъ какъ дитя и Краевскому не составило никакого труда превратить его въ клячу, въ щедринскаго «конягу» своего журнала, конягу, которому надо только приговаривать: «но, но, каторжный!» да изрѣдка подсыпать овсеца, чтобы онъ влегъ въ хомутъ изо всѣхъ своихъ силъ. Въ Краевскомъ была та хорошая черта, что въ глубинѣ души онъ зналъ

свой шестокъ и, умѣренно и аккуратно гешефтмахерствуя, не лѣзъ на пьедесталъ, не претендовалъ на идейное руководительство, не стремился къ нравственному главенству. Совсѣмъ даже напротивъ: Бѣлинскій дебютировалъ въ его журналѣ крайне рѣзкими статьями въ духѣ своего московскаго настроенія — и Краевскій похваливалъ ихъ. Въ Бѣлинскомъ произошелъ идейный переломъ и онъ началъ писать статьи совершенно въ противоположномъ направленіи—Краевскій и эти статьи одобрялъ. Съ точки зрѣнія Краевскаго онъ нисколько не противорѣчилъ себѣ: вѣдь и тѣ и другія статьи Бѣлинскаго представляли собою ходкій товаръ, а это только и нужно было антрепренеру. За Краевскимъ во всякомъ случаѣ остается серьезная заслуга организатора журнала, въ которомъ могли высказаться Бѣлинскій и его друзья, и хотя послѣднее совершилось не только помимо воли, но и помимо сознанія организатора, тѣмъ не менѣе, не будь Краевскаго, не было бы журнала. Самая прекрасная дѣвушка не можетъ дать больше того, что сама имѣетъ, какъ говоритъ французская пословица и неужели было бы лучше, еслибы Краевскій употребилъ данные ему Богомъ таланты на организацію не журнала, а какого нибудь увеселительнаго заведенія? Всякій свое получилъ: Краевскій — деньги, Бѣлинскій — любовь и уваженіе цѣлаго ряда поколѣній. Желчныя обвиненія, направленныя Панаевымъ на Краевскаго главнымъ образомъ за Бѣлинскаго, рѣшительно не имѣютъ основанія.

Переѣздъ Бѣлинскаго въ Петербургъ состоялся въ октябрѣ 1839 года. Г. Пыпинъ хорошо оцѣниваетъ значеніе этого переѣзда для Бѣлинскаго. «Петербургъ — говоритъ г. Пыпинъ — прежде всего отрывалъ Бѣлинскаго отъ тѣснаго кружка, въ которомъ до тѣхъ поръ сосредоточивалась его жизнь, и внѣшняя и внутренняя, и который такъ способствовалъ развитію и укрѣпленію его крайне-идеалистическаго настроенія. Эта жизнь въ кружкѣ уже исчерпывала себя къ концу пребыванія Бѣлинскаго въ Москвѣ; личные раздоры были признакомъ, что въ кружкѣ является что-то ненормальное, натянутое; нужно было освѣженіе отъ душнаго воздуха идеалистической экзальтаціи, выходъ въ простую дѣйствительную жизнь. Переселеніе въ Петербургъ было кризисомъ. Онъ былъ мучителенъ для Бѣ-

линскаго, потому что надо было отказаться отъ давней привычки, становившейся второю природою, отказаться отъ постоянныхъ личныхъ связей, гдѣ, кромѣ пищи идеализму, Бѣлинскій находилъ себѣ и искреннее сочувствіе, въ которомъ такъ нуждался. Въ Петербургѣ его окружали новые люди; онъ встрѣчалъ и отъ нихъ много искренняго расположенія, но для дружбы съ ними не было у него тѣхъ «историческихъ основаній», которыя онъ считалъ необходимыми и которыя дѣйствительно для нея необходимы. Нужно было время, чтобы онъ освоился съ новой обстановкой».

Это справедливо. Но болѣе важное указаніе г. Пыпина на сущность переворота, вскорѣ происшедшаго во взглядахъ Бѣлинскаго, требуетъ и серьезной поправки. Г. Пыпинъ говоритъ: «Основная черта этой внутренней жизни заключается именно въ томъ, что для Бѣлинскаго все больше и больше разъясняется фантастическое преувеличеніе его прежней точки зрѣнія и раскрывается иной взглядъ на вещи, который наконецъ и становится его господствующимъ воззрѣніемъ. Весь этотъ переломъ произошелъ втеченіе перваго же года его пребыванія въ Петербургѣ, и произошелъ въ немъ самостоятельнымъ развитіемъ: посторонніе вліянія, которыя дѣйствовали до извѣстной степени, были только поводомъ, а главной причиной перелома было его собственное развитіе, встрѣча съ непосредственной дѣйствительностью, которой до того времени онъ не видѣлъ за философскими фантасмагоріями московскаго кружка. На него подѣйствовали не столько теоретическія возраженія, сколько сама жизнь, и, разъ ее увидѣвъ, разъ надъ нею задумавшись, онъ самъ передѣлалъ всю систему своихъ понятій...» Это говорится о тридцатилѣтнемъ человѣкѣ сильнаго ума и огромнаго литературнаго таланта... «*Разъ увидѣвъ жизнь*» — но развѣ до тѣхъ поръ Бѣлинскій на лунѣ, а не на землѣ жилъ? «*Разъ надъ нею задумавшись*» — но неужели философствованія Бѣлинскаго происходили въ какомъ-то безвоздушномъ пространствѣ, а не на почвѣ реальной дѣйствительности? Мученія Бѣлинскаго именно въ томъ и заключались, что несмотря на требованія своей примирительной философіи, онъ не могъ примириться съ дѣйствительностью, потому что видѣлъ ее, мыслилъ о

пей, хотя бы уже просто въ качествѣ литературнаго критика, постоянно анализирующаго явленія литературы, т. е. изображенія дѣйствительности. Далѣе, почему бы это Бѣлинскій, живя въ Москвѣ, никакъ не могъ разсмотрѣть дѣйствительности, а какъ переѣхалъ въ Петербургъ, тотчасъ ее и разсмотрѣлъ? Между московской и петербургской дѣйствительностью, не только въ философскомъ, но и въ болѣе узкомъ смыслѣ, разницы нѣтъ никакой и если Бѣлинскій находилъ для своего оптимизма достаточныя основанія въ Москвѣ, то онъ могъ бы удовлетвориться ими и переѣхавши въ Петербургъ.

Не потому Бѣлинскій эмансипировался отъ «философскихъ фантасмагорій» кружка, что физически разлучился съ нимъ, а потому, и только потому, что къ этому привелъ его процессъ его развитія. Съ полной увѣренностью утверждаемъ мы, что если бы Бѣлинскій остался въ Москвѣ и въ составъ кружка вошли бы еще нѣсколько новыхъ Станкевичей и Боткиныхъ—результатъ былъ бы тотъ же самый. Бѣлинскій пережилъ эту фазу развитія, переросъ кружковую философію—вотъ вся исторія его умственнаго переворота, происшедшаго единственно и исключительно въ силу внутреннихъ мотивовъ и процессовъ. Бѣлинскій принадлежалъ къ числу тѣхъ натуръ, которыя развиваются болѣзненно и трудно, но непрерывно, развиваются (вспомнимъ напр. Салтыкова) даже тогда, когда начинаютъ падать силы физическаго организма. Вспомнимъ еще разъ слова Бѣлинскаго, что ему, ради своей философіи, приходилось «жертвовать самыми задушевными субъективными чувствами своими». Для людей отвлеченной и пассивной благожелательности, какимъ былъ Станкевичъ, или для людей индифферентныхъ, какъ Боткинъ, такой разладъ съ самимъ собою, такой диссонансъ между мыслью и непосредственнымъ чувствомъ былъ не чувствителенъ и даже не замѣтенъ. Великое преимущество Бѣлинскаго надъ всѣми его друзьями состояло (помимо литературнаго таланта) именно въ активности его совѣсти, въ томъ, что онъ жаждалъ не только истины, но и справедливости. Будучи *человѣкомъ*, онъ не могъ быть только «головастикомъ». Состояніе кризиса, въ которомъ находился Бѣлинскій, прекрасно выражено имъ въ одномъ изъ его писемъ. «Мнѣ—писалъ Бѣ-

линскій—теперь ни до кого нѣтъ дѣла, я никого не люблю, ни въ комъ не принимаю участія, — потому что для меня настало такое время, когда я увидѣлъ ясно, что или мнѣ надо стать гѣмъ, чѣмъ я долженъ быть, или отказаться отъ претензіи на всякую жизнь, на всякое счастіе... Но я не могу и спиться... Мнѣ остается одно: или сдѣлаться дѣйствительнымъ, или до гѣхъ поръ, пока жизнь не погаснетъ въ тѣлѣ, пѣть вотъ эту пѣсенку

Я увялъ и увялъ
Навсегда, навсегда,
И блаженства не зналъ
Никогда, никогда!

Вотъ какъ заговорилъ человѣкъ, который еще такъ недавно толковалъ о «мирѣ», «гармоніи» и «счастіи», добытыхъ имъ путемъ отвлеченной мысли. Столь упорно и долго подавляемыя «задушевныя субъективныя чувства» взяли наконецъ верхъ надъ діалектическими построеніями—и въ этомъ состояла *нравственная* сторона овладѣвшаго Бѣлинскимъ кризиса.

Идейное содержаніе новаго направленія Бѣлинскаго опредѣлить еще легче. Строго говоря, формулу этого направленія Бѣлинскій могъ бы почерпнуть изъ той же гегелевской философіи, которую онъ исповѣдывалъ и которую — какъ оно и было на самомъ дѣлѣ—можно было истолковывать до того-различно, что «гегеліанцы»—послѣдователи одного и того же учителя—стояли на различныхъ сторонахъ и относились другъ къ другу съ рѣшительною враждебностью. «Что дѣйствительно, то разумно»—вотъ какъ резюмировались московскія воззрѣнія Бѣлинскаго. «Что разумно, то дѣйствительно»—вотъ та формула, которая съ достаточной полнотой могла бы выразить воззрѣнія Бѣлинскаго петербургскаго періода. «Что *разумно*»—т. е. все, что допускается мыслью, всѣ формы жизни, всѣ идеалы и общественныя построенія, мыслимыя нашимъ разумомъ, суть *дѣйствительны* — не въ смыслѣ реальностей, а въ смыслѣ возможностей. Очевидно, что въ *этихъ* рамкахъ нѣтъ ни малѣйшаго стѣсненія для «задушевныхъ субъективныхъ чувствъ», нѣтъ никакихъ поводовъ къ разладу между разумомъ и лю-

бовью. Напротивъ, въ послѣднемъ своемъ выраженіи и развитіи, эта формула—«что разумно, то дѣйствительно»—превращается логически въ слѣдующую: «что нравственно и справедливо, то разумно, что разумно, то дѣйствительно». Читатель, надѣемся, безъ труда сообразитъ, что такая формула не къ квіетизму ведетъ, а призываетъ къ дѣятельности, открываетъ горизонты и перспективы почти безконечныя. Бѣлинскій напр. съ первыхъ же шаговъ въ новомъ направленіи рѣшилъ, что онъ «совсѣмъ не авторъ для *немногихъ*», какимъ онъ хотѣлъ быть прежде, что онъ долженъ писать не для друзей, а для публики.

Переворотъ произошелъ въ Бѣлинскомъ конечно не вдругъ, а мало по малу, какъ процессъ органическій, а не механическій. Въ письмахъ, приведенныхъ въ книгѣ г. Пыпина, можно почти шагъ за шагомъ прослѣдить развитіе этого процесса. Вотъ напр., что онъ писалъ изъ Петербурга Боткину:

«Да, по прежнему брезгаю французами... но идея общества обхватила меня крѣпче — и пока въ душѣ останется хотя искорка, а въ рукахъ держится перо,—я дѣйствую. Мочи нѣтъ, куда ни взглянешь—душа возмущается, чувства оскорбляются. Что мнѣ за дѣло до кружка — во всякой стѣнѣ, хотя бы и не китайской, плохое убѣжище. Вотъ уже нашъ кружокъ и разсыпался, и еще больше разсыплется, а куда преклонить голову, гдѣ сочувствіе, гдѣ пониманіе, гдѣ человѣчность? Нѣтъ, къ чорту всѣ высшія стремленія и цѣли! Мы живемъ въ страшное время, судьба налагаетъ на насъ схиму, мы должны страдать, чтобы нашимъ внукамъ было легче жить... Умру на журналѣ и въ гробъ велю положить подъ голову книжку «О. З.». Я литераторъ — говорю это съ болѣзненнымъ и вмѣстѣ радостнымъ и гордымъ убѣжденіемъ. Литературѣ расейской моя жизнь и моя кровь. Теперь стараюсь поглупѣть, чтобы расейская публика лучше понимала меня: благодаря одуряющему вліянію финскихъ болотъ и гпусной плоскости, на которой основанъ Питеръ, надѣюсь вполнѣ успѣть въ этомъ...»

По поводу этого отрывка сдѣлаемъ мимоходомъ одно замѣчаніе, касающееся всей вообще переписки Бѣлинскаго. Письма Бѣлинскаго—замѣчательныя литературныя произведенія, болѣе замѣчательныя, нежели его печатныя статьи. Непринужденный

тонъ этихъ писемъ, неожиданные переходы отъ горькаго сарказма къ веселой шуткѣ, мѣткіе эпитеты, прелестныя сравненія, иногда лучше всякихъ общихъ опредѣленій представляющія предметъ — все это даетъ истинную мѣрку того, какъ могъ бы писать Бѣлинскій при болѣе благопріятныхъ условіяхъ. Заслуга г. Пыпина, разыскавшаго и напечатавшаго эти письма—заслуга можно сказать незабвенная. Въ другомъ письмѣ, написанномъ около того же времени, Бѣлинскій жалуется на овладѣвшую имъ апатію—вѣрнѣйшій признакъ и неизбѣжный спутникъ всякихъ серьезныхъ переломовъ, какъ личныхъ, такъ и общественныхъ—но тутъ же намекаетъ и на возможность исцѣленія: «Мнѣ—пишетъ онъ — остается одно: объективный интересъ моей литературной дѣятельности. Только тутъ я самъ уважаю себя... потому что вижу въ себѣ безконечную любовь и готовность на всѣ жертвы, только тутъ я и страдаю и радуюсь не о себѣ и не за себя, только тутъ моя дѣятельность торжествуетъ надъ лѣнью и апатіею. И потому я больше горжусь, больше счастливъ какою-нибудь удачною выходкою противъ Булгарина Греча и подобныхъ..., нежели дѣльною критическою статьею... Видно и въ самомъ дѣлѣ я нуженъ судьбѣ, какъ орудіе (хоть такое, какъ помело, лопата или заступъ), а потому долженъ отказаться отъ всякаго счастія, потому что судьба жестока къ своимъ орудіямъ — велитъ имъ быть довольными и счастливыми тѣмъ, что они орудія, а больше ничѣмъ, и употребляетъ, пока не изломаются, а тамъ бросаетъ. Такъ и я: въ жизни... помучусь, поколочусь..., а тамъ... погружусь въ міровую субстанцію и въ ней заживу на славу. Лестная перспектива впереди!...»

Прошло еще немного времени и Бѣлинскій дѣлаетъ новый шагъ въ томъ же направленіи: «Съ французами я помирился совершенно: не люблю ихъ, но уважаю. Ихъ всемірно-историческое значеніе велико. Они не понимаютъ абсолютнаго и конкретнаго, но живутъ и дѣйствуютъ въ ихъ сферѣ. Любовь моя къ родному, къ русскому, стала грустнѣе: это уже не прекраснодушный энтузіазмъ, но страдальческое чувство. Все субстанціальное въ нашемъ народѣ велико, необъятно, но опредѣленіе гнусно, грязно, подло.»

Еще нѣсколько мѣсяцевъ усиленной внутренней работы,

перемежавшейся припадками настоящаго отчаянія—и «неистовый Виссаріонъ» начинаетъ неистовствовать съ прежнею силою, но уже совершенно на другой мотивъ.

Какъ бы то ни было, соглашеніе произошло—и «Отечественныя Записки» (редакторъ которыхъ благоразумно и тактично оставилъ въ своемъ вѣдѣніи только административную и экономическую часть дѣла) сдѣлались центромъ и органомъ всего передового, талантливаго и живого въ нашей тогдашней литературѣ. Идея личности и ея правъ, не въ духѣ отвлеченно-моральнаго гуманизма, а въ смыслѣ задачи простого общественнаго благоустройства, въ смыслѣ требованія, вытекающаго изъ самой природы всякаго общежитія—эта плодотворная идея всецѣло овладѣла Бѣлинскимъ. Онъ развивалъ эту идею на почвѣ эстетическихъ вопросовъ и въ формѣ анализа чисто литературныхъ явленій и то-же самое дѣлали его сотрудники-друзья въ другихъ сферахъ мысли и науки. Благодаря этому журналъ достигъ рѣдкаго единства направленія и благодаря единству пріобрѣлъ огромное умственное вліяніе на общество. Въ одномъ изъ своихъ писемъ къ Боткину *послѣ* перелома Бѣлинскій съ прелестной шутливостью, но и съ замѣчательной ясностью и глубиною опредѣляетъ все содержаніе своего новаго міросозерцанія. «Ты, пишетъ онъ Боткину, я знаю—будешь надо мною смѣяться... (это, въ скобкахъ сказать, хорошо характеризуетъ Боткина); но смѣйся, какъ хочешь, а я свое: судьба субъекта, индивидуума, личности, важнѣе судебъ всего міра! Мнѣ говорятъ: развивай всѣ сокровища своего духа для свободнаго самонаслажденія духомъ, плачь, дабы утѣшиться, скорби, дабы возрадоваться, стремись къ совершенству, лѣзь на верхнюю ступень лѣстницы развитія, а споткнешься, падай—чортъ съ тобою—таковскій и былъ сукинъ-сынъ... Благодарю покорно, Егоръ Оедоровичъ (Гегель)—кланяюсь вашему философскому колпаку; но, со всѣмъ подобающимъ вашему философскому филистерству уваженіемъ, честь имѣю донести вамъ, что если бы мнѣ и удалось влѣзть на верхнюю ступень лѣстницы развитія,—я и тамъ попросилъ бы васъ отдать мнѣ отчетъ во всѣхъ жертвахъ условій жизни и исторіи, во всѣхъ жертвахъ случайностей, суевѣрія, инквизиціи, Филиппа II и пр. пр.; иначе я

съ верхней ступени бросаюсь внизъ головою. Я не хочу счастія и даромъ, если не буду спокоенъ на счетъ каждаго изъ моихъ братій по крови... Говорятъ, что дисгармонія есть условіе гармоніи: можетъ быть, это очень выгодно и усладительно для меломановъ, но ужъ конечно не для тѣхъ, которымъ суждено выразить своею участью идею дисгармоніи. Впрочемъ, если писать объ этомъ все,—и конца не будетъ». Отъ этой шутливости вѣетъ бодростью, и Бѣлинскій чувствовалъ себя въ это время такъ повидимому хорошо и мирно, что даже объ извѣстныхъ русскихъ обще-литераторскихъ огорченіяхъ сообщаетъ съ добродушнымъ юморомъ: «въ «О. З.» напечатана моя вторая статья о Петрѣ Великомъ; въ рукописи это точно о Петрѣ Великомъ и, не хвалясь скажу, статейка умная, живая; но въ печати—это рѣчь о проницаемости природы и склонности человѣка къ чувствамъ забвенной меланхоліи».

Такое мирное настроеніе Бѣлинскій однако сохранялъ только для пріятелей. Въ журналѣ онъ велъ упорную борьбу съ противниками своихъ мнѣній, которые въ это время (1841) успѣли обзавестись еще новымъ органомъ — «Москвитяниномъ», издававшимся подъ редакторствомъ Погодина и Шевырева. Полемика была вообще одною изъ любимыхъ стихій Бѣлинскаго, а въ данномъ случаѣ онъ тѣмъ охотнѣе бросился въ борьбу, что Погодинъ и Шевыревъ были все таки болѣе приличные противники, нежели Булгаринъ и Гречъ, и что московскій журналъ явился выразителемъ тѣхъ самыхъ тенденцій, которыя только что отвергнулъ Бѣлинскій, но тенденцій, доведенныхъ до уродливой исключительности. Идеальный, общефилософскій элементъ былъ изгнанъ изъ этихъ тенденцій и они сводились къ превознесенію не дѣйствительности вообще (какъ это было у Бѣлинскаго), а дѣйствительности національной. Казалось бы, оно довольно безобидно: всякъ куликъ свое болото хвалитъ, какъ говоритъ пословица. Но дѣло конечно не могло остановиться на платоническомъ національномъ бахвальствѣ, а развилось въ цѣлое ученіе, которое тогда называли славянофильскимъ, но которое вѣрнѣе было бы назвать просто руссопетскимъ. Полемика эта продолжалась однако недолго, въ виду солидности тѣхъ аргументовъ, которые «москвитяне» вы-

двинули противъ Бѣлинскаго послѣ первой же его статьи объ нихъ. «Смотрите, чтобы не было вамъ какой бѣды...» писалъ въ попыхахъ Боткинъ въ редакцію «Отеч. Зап.» и сообщалъ факты, которые дѣйствительно нахли «бѣдою». Позднѣе, въ 1842 году, при появленіи первой части «Мертвыхъ душъ», Бѣлинскій, въ лицѣ Константина Аксакова, своего бывшаго пріятеля и единомышленника, далъ славянофиламъ генеральную битву, которая впрочемъ была только эпизодомъ общей борьбы, загорѣвшейся тогда между «западниками» и славянофилами и въ сущности продолжающейся до сихъ поръ.

Русскій человѣкъ въ большинствѣ своихъ слабостей (безпечности, безпорядочности, нерегулярности), какъ и въ большинствѣ своихъ достоинствъ (альтруистичности, сердечной нѣжности и мягкости, скромности), Бѣлинскій въ формальномъ смыслѣ по русски и работалъ: полосами и запоями. Дни и недѣли проходили въ письменныхъ и устныхъ бесѣдахъ съ пріятелями, въ игрѣ въ преферансъ и т. д.— «глядь, ужъ и 15-е число на дворѣ, Краевскій рычитъ, у меня въ головѣ ни полмысли, не знаю, какъ начну, что скажу, беру перо и статья будетъ готова—какъ, я самъ не знаю, но будетъ готова».

Это признаніе характеризируетъ нѣчто гораздо большее, нежели простые пріемы работы. Дѣло въ томъ, что сила таланта Бѣлинскаго заключалась не столько въ доказательности его доводовъ, сколько въ убѣдительности его тона, того постояннаго одушевленія, съ какимъ онъ говорилъ о предметѣ. Сердце автора давало вѣсть сердцу читателя. А для этого не требовалось ни строгой обдуманности общаго плана работы, ни соразмѣрности частей, ни особой чистоты языка, а требовалось, чтобы авторъ въ каждую минуту и на каждой строкѣ былъ самимъ собою, не насиловалъ ни своего ума, ни своей совѣсти —условіе страшно трудное и невыгодное для всѣхъ—кромѣ такихъ людей какъ Бѣлинскій. Бѣлинскому не надо было заметать никакихъ своихъ слѣдовъ, не надо было прятать никакихъ своихъ хвостовъ: онъ *сердился* на свои прошлыя ошибки, но не *стыдился* ихъ и по праву, потому что вѣдь и ошибаясь онъ оставался все тѣмъ же алчущимъ и жаждущимъ правды человѣкомъ, какимъ былъ по натурѣ. И вотъ почему его статьи-

имировизаціи сплошь да рядомъ выходили удачнѣе, убѣдительнѣе, *дѣйствительнѣе*, нежели его болѣе обдуманныя работы. Для его впечатлительной натуры достаточно было небольшого внѣшняго побужденія, чтобы душа его «встрепенулась, какъ пробудившійся орелъ», и разъ начавши работу, возбуждаемый ея процессомъ, онъ не только быстро справлялся съ нею, но, благодаря ей, подготовлялъ незамѣтно для самаго себя и новыя темы, и новыя идеи, и новые доводы для будущаго. Развивая свои идеи, онъ развивался самъ. Счастливая способность, свойственная всѣмъ очень даровитымъ людямъ, ассоціировать и обобщать постоянно раздвигала его умственные горизонты. Онъ могъ сказать объ идеяхъ то, что сказалъ Пушкинъ о рифмахъ: «двѣ придутъ сами, третью приведутъ». А внѣшніе, нужные ему импульсы заключались въ самомъ его положеніи, какъ литературнаго батрака. «Я—Прометей въ каррикатурѣ: «Отеч. Записки»—моя скала, Краевскій—мой коршунъ»—эта забавная шутка Бѣлинскаго конечно не выражала истиннаго положенія дѣла: коршунъ Прометея мучительствовалъ безсмысленно и безплодно; но коршунъ Бѣлинскаго, заботясь о своихъ интересахъ, работалъ на пользу общественную. Болѣе чѣмъ вѣроятно, что безъ этого «коршуна», безъ его хозяйскихъ правъ надъ Бѣлинскимъ, не малая доля той первной силы, которая вложена въ статьи Бѣлинскаго, была бы ухлопана на безчисленныя пульки въ преферансъ, о своемъ пристрастіи къ которому Бѣлинскій писалъ въ Москву: «страсть моя къ преферансу ужасаетъ всѣхъ. Я готовъ играть утромъ, вечеромъ, ночью, днемъ, не ѣсть и играть, не спать и играть» *).

Въ концѣ 1843 года Бѣлинскій женился на москвичкѣ.

---

*) Вотъ какъ напр. Кавелинъ разсказываетъ объ игрѣ Бѣлинскаго въ карты: „повѣритъ ли читатель, что въ нашу игру, невиннѣйшую изъ невинныхъ, которая въ худшемъ случаѣ оплачивалась рублемъ, двумя, Бѣлинскій вносилъ всѣ перипетіи страсти, отчаянія и радости, точно участвовалъ въ великихъ историческихъ событіяхъ? Садился онъ играть съ большимъ увлеченіемъ, и если ему везло, былъ доволенъ и веселъ... поставя нѣсколько ремизовъ, Бѣлинскій становился мрачнымъ, жаловался на судьбу, которая его во всемъ преслѣдуетъ и наконецъ съ отчаяніемъ бросалъ карты и уходилъ въ темную комнату“.

сближеніе съ которой произошло лѣтомъ того года, въ одну изъ его поѣздокъ изъ Петербурга для свиданія съ московскими друзьями. «Важность этого событія для Бѣлинскаго, говоритъ г. Пыпинъ, должна быть ясна читателю изъ того, что мы знаемъ о нравственномъ настроеніи Бѣлинскаго за эти годы». Огромная важность этого событія для Бѣлинскаго вытекала не изъ какого либо частнаго, временнаго, нравственнаго его настроенія, а изъ всѣхъ свойствъ его натуры и его характера. Для людей, подобныхъ Бѣлинскому, находящихся въ состояніи постояннаго возбужденія, радостнаго или горестнаго волненія даже по поводу ничтожнѣйшихъ мелочей — миръ и покой тихой семейной жизни былъ бы самой лучшей обстановкой въ смыслѣ, если такъ можно выразиться, нравственной гигіены. Бѣлинскому была нужна не Далила, а Пенелопа и притомъ такая, которая кромѣ хозяйственныхъ талантовъ и «волоокихъ» очей имѣла бы хоть смутное понятіе о значеніи своего Улисса и судила бы о немъ не по камердинерски. Къ сожалѣнію, этотъ существенно-важный пунктъ біографіи Бѣлинскаго остается не разъясненнымъ. Госпожа Бѣлинская умерла только въ 1890-мъ году, переживъ своего мужа слишкомъ на сорокъ лѣтъ, и г. Пыпинъ по чувству понятной деликатности воздержался отъ опубликованія переписки Бѣлинскаго съ друзьями, касавшейся семейной жизни нашего критика. Г. Пыпинъ только глухо говоритъ, что «у домашняго очага началась для Бѣлинскаго новая жизнь, съ ея особыми интересами и тревогами»... Ясно, что въ «новой» жизни Бѣлинскій нашелъ только «особыя» тревоги, хотя и прежнихъ его тревогъ, нужныхъ и ненужныхъ, осмысленныхъ и неосмысленныхъ, было болѣе чѣмъ достаточно для такого «сосуда скудельнаго», какимъ былъ физическій организмъ Бѣлинскаго.

Въ концѣ 1845 года Бѣлинскій, такъ много и плодотворно поработавшій для «От. Зап.», долженъ былъ оставить этотъ журналъ изъ за какихъ то несогласій съ его редакціей. Конечно, въ этихъ несогласіяхъ гораздо менѣе удивительнаго, нежели въ шестилѣтнемъ «согласіи» между такими антиподами, какъ Бѣлинскій и Краевскій. На вопросы своихъ московскихъ друзей—какъ должны смотрѣть они на этотъ разрывъ, —Бѣлинскій

писалъ: «отвѣчаю утвердительно: радоваться; дѣло идетъ не только о здоровьѣ, о жизни, но и умѣ моемъ. Вѣдь я тупѣю со дня на день. Памяти нѣтъ, въ головѣ хаосъ отъ русскихъ книгъ, а въ рукѣ всегда готовыя общія мѣста и казенная манера писать обо всемъ. Ты не знаешь этого положенія. А что я могу прожить и безъ «Отечественныхъ Записокъ», можетъ быть еще лучше, это кажется ясно. Въ головѣ у меня много дѣльныхъ предпріятій и затѣй, которыя при прочихъ занятіяхъ никогда бы не выполнились, и у меня есть теперь имя, а это много».

Само собою разумѣется, что Краевскій совершенно не догадывался о значеніи Бѣлинскаго, смотрѣлъ на него, какъ на литературнаго чернорабочаго и заваливалъ его работой, которая была ниже Бѣлинскаго. Бѣлинскій былъ въ его глазахъ только чуть-чуть побольше, нежели ментраншажъ его типографіи — и, повторяемъ, нужно только удивляться долготерпѣнію Бѣлинскаго, шесть лѣтъ проработавшаго при такихъ условіяхъ. «Дѣльныя предпріятія и затѣи» Бѣлинскаго конечно не удались и не могли удасться по совершенной непригодности Бѣлинскаго къ практическимъ дѣламъ, но какъ разъ въ это время пушкинскій «Современникъ», совершенно упавшій подъ редакціей Плетнева, перешелъ въ руки Панаева и Некрасова,—друзей и почитателей Бѣлинскаго. Некрасовъ былъ практикомъ не хуже Краевскаго, но онъ былъ кромѣ того первокласснымъ писателемъ, и Бѣлинскій могъ бы работать въ журналѣ, не тревожась за редакціонную сторону дѣла. Но было поздно. Пѣсня Бѣлинскаго была почти спѣта.

Еще въ 1846 году московскіе друзья Бѣлинскаго, въ виду тяжелаго состоянія его здоровья, устроили ему поѣздку на югъ Россіи. Въ слѣдующемъ году они же нашли средства для отправленія его заграницу. Ни та, ни другая поѣздка не принесла здоровью Бѣлинскаго ни малѣйшей пользы, да нисколько не освѣжила его и въ нравственномъ смыслѣ. Дѣло въ томъ, что никакія новыя впечатлѣнія не могли заглушить его старыхъ заботъ, въ числѣ которыхъ забота о «расейской литературѣ» стояла на первомъ планѣ. Живя въ Крыму, онъ не переставалъ мысленно воевать съ своими главными литературными врагами—славянофилами. Одинъ отрывокъ изъ его крымскихъ

писемъ мы приведемъ — не только къ удовольствію, но и къ пользѣ читателя:

«Въѣхавши въ Крымскія степи, мы увидѣли три новыя для насъ націи: крымскихъ барановъ, крымскихъ верблюдовъ и крымскихъ татаръ. Я думаю, что это разные виды одного и того же рода, разныя колѣна одного племени: такъ много общаго въ ихъ физіономіи. Если они говорятъ и не однимъ языкомъ, то тѣмъ не менѣе хорошо понимаютъ другъ друга. А смотрятъ рѣшительно славянофилами. Но — увы! — въ лицѣ татаръ даже и настоящее, коренное, восточное патріархальное славянофильство поколебалось отъ вліянія лукаваго Запада. Татары большею частію носятъ на головѣ длинные волосы, а бороду брѣютъ! Только бараны и верблюды упорно держатся святыхъ праотеческихъ обычаевъ временъ Кошихина — своего мнѣнія не имѣютъ, буйной воли и буйнаго разума боятся пуще чумы и безконечно уважаютъ старшаго въ родѣ, т. е. татарина, позволяя ему вести себя куда угодно и не позволяя себѣ спросить его, почему, будучи ничѣмъ не умнѣе ихъ, гоняетъ онъ ихъ съ мѣста на мѣсто. Словомъ, принципъ смиренія и кротости постигнутъ ими въ совершенствѣ, и на этотъ счетъ они могли бы проблеять что-нибудь поинтереснѣе того, что блеетъ Шевыревъ и вся почтенная славянофильская братія».

Заграницей Бѣлинскій точно также думалъ только объ интересахъ родной литературы и родного общества. Здѣсь именно написалъ и послалъ онъ свое знаменитое письмо къ Гоголю по поводу книги послѣдняго «Переписка съ друзьями», письмо, которое мы не будемъ приводить въ извлеченіяхъ г. Пыпина, надѣясь, что оно извѣстно читателю цѣликомъ. Тургеневъ, бывшій путеводителемъ Бѣлинскаго въ Парижѣ, хорошо характеризовалъ это равнодушіе нашего «западника» къ культурнымъ чудесамъ запада. «Онъ — разсказываетъ Тургеневъ о Бѣлинскомъ — изнывалъ заграницей отъ скуки, его такъ и тянуло назадъ въ Россію... Ужь очень онъ былъ русскій человѣкъ, и внѣ Россіи замиралъ, какъ рыба на воздухѣ. Помню, въ Парижѣ онъ въ первый разъ увидалъ площадь Согласія и тотчасъ спросилъ меня: «Не правда ли? Вѣдь это одна изъ красивѣйшихъ площадей въ мірѣ?» — И на мой утвердительный отвѣтъ

воскликнулъ: «Ну, и отлично; такъ ужь я и буду знать, — и въ сторону, и баста!» и заговорилъ о Гоголѣ. Я ему замѣтилъ, что на самой этой площади во время революціи стояла гильотина и что тутъ отрубили голову Людовику XV -му; онъ посмотрѣлъ вокругъ, сказалъ: а! — и вспомнилъ сцену Остаповой казни въ «Тарасѣ Бульбѣ».

Возвратившись изъ заграницы въ Петербургъ—опять «на оный путь, журнальный путь»—Бѣлинскій взялся за работу съ особенной энергіей. Дѣло въ томъ, что изнурительная болѣзнь Бѣлинскаго (чахотка) и ему самому и его друзьямъ внушала самыя серьезныя сомнѣнія въ его работоспособности. «Дѣло прошлое, писалъ онъ потомъ, когда убѣдился въ неосновательности своихъ сомнѣній—а я и самъ ѣхалъ заграницу съ тяжелымъ и грустнымъ убѣжденіемъ, что поприще мое кончилось, что я сдѣлалъ все, что дано было мнѣ сдѣлать, что я выписался и.... сталъ похожъ на выжатый и вымоченный въ чаѣ лимонъ. Каково мнѣ было такъ думать, можете посудить сами: тутъ дѣло шло не объ одномъ самолюбіи, но и о голодной смерти съ семействомъ. И надежда возвратилась мнѣ съ этою статьею».

Надежда была напрасна. Болѣзнь дѣлала свое разрушительное дѣло, а тутъ приспѣлъ 1848-й годъ... Бѣлинскій продолжалъ еще работать, но уже принужденъ былъ не писать, а диктовать свои статьи и рецензіи. Къ физическимъ страданіямъ присоединились тяжелыя нравственныя безпокойства, очень успѣшно помогавшія болѣзни. Свѣча догорала съ обоихъ концовъ. «Я—разсказываетъ Панаевъ—разъ зашелъ къ нему утромъ, это было или въ послѣднихъ числахъ апрѣля или въ первыхъ мая. На дворъ, подъ деревья, вынесли диванъ—и Бѣлинскаго вывели подышать чистымъ воздухомъ. Я засталъ его уже на дворѣ. Онъ сидѣлъ на диванѣ, опустя голову и тяжело дыша. Увидѣвъ меня, онъ грустно покачалъ головою и протянулъ мнѣ руку, всю покрытую холоднымъ потомъ. Черезъ минуту онъ приподнялъ голову, взглянулъ на меня и сказалъ: «плохо мнѣ. плохо. Панаевъ!» Я началъ было нѣсколько словъ въ утѣшеніе, но онъ перебилъ меня: «Полноте говорить вздоръ». И снова молча и тяжело дыша опустилъ голову».

26 мая 1848 года Бѣлинскій умеръ.

VIII.

Заключеніе.

О личности Бѣлинскаго мы кончили, но о его идеяхъ мы считаемъ небезполезнымъ сдѣлать два-три заключительныхъ замѣчанія.

Г. Пыпинъ въ своей біографіи Бѣлинскаго говоритъ: «для нынѣшнихъ читателей иногда странной, почти невразумительной кажется та тягостная внутренняя борьба, которую мы старались изобразить и цѣпою которой Бѣлинскій приходилъ къ своимъ послѣднимъ выводамъ. Дѣло было повидимому такъ просто, и Бѣлинскій, казалось, былъ очень наивенъ, когда увлекался такъ далеко въ сторону отъ идей, принятыхъ имъ впослѣдствіи».

Панаевъ, имѣя въ виду московскій кружокъ Бѣлинскаго, писалъ: «сколько молодости, свѣжести силъ, усилій ума потрачено на разрѣшеніе вопросовъ, которые теперь, черезъ 20 слишкомъ лѣтъ, кажутся смѣшными.»

И такъ, поколѣнію, для котораго тридцать лѣтъ назадъ писалъ Панаевъ, вопросы, волновавшіе Бѣлинскаго, были «смѣшны». Читателю, для котораго пятнадцать лѣтъ назадъ писалъ г. Пыпинъ, Бѣлинскій долженъ былъ казаться «очень наивенъ». Бѣдный Бѣлинскій, смѣшной, наивный, устарѣлый, отсталый! Зачѣмъ потревожили мы его память? Если тридцать лѣтъ назадъ онъ былъ смѣшонъ, пятнадцать лѣтъ назадъ—наивенъ, то чѣмъ онъ долженъ казаться теперь и какой терминъ примѣнитъ къ нему современный читатель?

Это пусть будетъ какъ кому угодно; мы же съ своей стороны безъ дальнѣйшихъ околичностей скажемъ, что и читателю шестидесятыхъ, и читателю семидесятыхъ, и читателю восьми-

десятыхъ годовъ нужно очень высоко загнуть свою голову, чтобы заглянуть Бѣлинскому въ лицо. Не о дарованіяхъ Бѣлинскаго и не о нравственной личности его говоримъ мы—эти достоинства не зависятъ отъ времени—мы указываемъ именно на его будто бы устарѣлыя идеи. Возьмемъ для примѣра спеціальность Бѣлинскаго—литературную критику. Критика шестидесятыхъ годовъ, какъ мы уже имѣли случай замѣтить, была не болѣе какъ талантливымъ развитіемъ тѣхъ литературныхъ требованій и принциповъ, которые были выработаны Бѣлинскимъ въ послѣднемъ, петербургскомъ періодѣ его дѣятельности. Современная критика, отвергая эти принципы, выдвигаетъ.... что нибудь новое, свое, вы думаете? Нѣтъ, она возвращается только къ тѣмъ эстетическимъ принципамъ, которыми руководствовался Бѣлинскій въ московскій періодъ своего развитія и которые онъ рѣшительно осудилъ впослѣдствіи. То-же самое происходитъ и съ общественными идеями Бѣлинскаго. Бѣлинскій отсталъ? Мы искренно пожелали бы современнымъ передовымъ людямъ нашимъ въ такой же полнотѣ и съ такою же ясностью усвоить себѣ напр. идею личности, какъ это мы видимъ у Бѣлинскаго. Бѣлинскій устарѣлъ? О, какъ обновились и очистились бы наши понятія, если бы мы твердо усвоили хотя ту мысль Бѣлинскаго, что «народность, исключающая изъ себя человѣчность», тѣмъ самымъ подписываетъ себѣ нравственный приговоръ! Далеко ли мы уйдемъ современемъ —это неизвѣстно, но пока Бѣлинскій не есть только фактъ исторіи, а фактъ жизни. Исторія умственнаго развитія и умственныхъ переломовъ Бѣлинскаго не есть только исторія личности и даже не исторія поколѣнія, а выраженіе нашего общаго историческаго процесса, съ его акціями и реакціями, переходными моментами и промежутками апатіи.

ИСТОРІЯ КНИГИ НА РУСИ.

А. Бахтіарова.

Со многими рисунками въ текстѣ. **Ц. 1 р. 50 к.**

Содержаніе: I. — Славянскія письмена.—II. Писчая бумага.—III. Переписчики книгъ въ древней Руси.—IV. Возникновеніе книгопечатанія въ Европѣ.—V. Иванъ Ѳедоровъ —первый Русскій книгопечатникъ. VI. Книгопечатное дѣло при Петрѣ Великомъ.—VII. Новиковъ—первый Русскій журналистъ и издатель книгъ.—VIII. Библіотеки въ Россіи.—IX. Исторія цензуры въ Россіи.—X. Литературная собственность.—XI. Книжная торговля.

ИСКРЫ БОЖЬИ.

Біографическія очерки **А. Островинской.**

Содержаніе: Новиковъ, Бѣлинскій, Щепкинъ, Жуковскій, Ершовъ, Сѣряковъ, Сервантесъ, Свифтъ. Біографіи снабжены портретами.

Тѣ-же біографіи отдѣльными книжками:

„Новиковъ.“ Ц. 20 к. „Бѣлинскій“—20 к. „Щепкинъ“—15 к. „Жуковскій“—20 к. „Ершовъ“—20 к. „Сѣряковъ“—25 к.

ДВАДЦАТЬ БІОГРАФІЙ

ОБРАЗЦОВЫХЪ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ.

СЪ ПОРТРЕТАМИ.

Составилъ **В. Острогорскій.**

Содержаніе: *Вмѣсто предисловія. О томъ, что такое сочиненіе, и кого называютъ образцовымъ писателемъ.* Краткія біографіи: Ломоносова, Фонъ-Визина, Державина, Карамзина, Жуковскаго, Крылова, Грибоѣдова, Пушкина, Майкова, Кольцова, Лермонтова, Гоголя, Григоровича, Гончарова, Островскаго, Тургенева, Некрасова, Достоевскаго, Писемскаго и гр. Л. Толстого.

2-е изданіе. Цѣна **50** к. Въ папкѣ—**75** к., въ переплетѣ—**1** р.

СОЧИНЕНІЯ А. СКАБИЧЕВСКАГО.

Критическіе этюды, публицистическіе очерки, литературныя характеристики. 1868—1887.

СОДЕРЖАНІЕ: Новое время и старые боги. Русское недомысліе. Прудонъ объ искусствѣ. Герои голубинаго полета. Теорія Лассаля. Живая струя. Д. И. Писаревъ. Старая правда. Чего нужно добиваться реальному поэту. Сорокъ лѣтъ русской критики. Герои вѣчныхъ ожиданій. Графъ Левъ Толстой. Старый идеализмъ въ современной оболочкѣ. Три человѣка сороковыхъ годовъ. Сентиментальное прекраснодушіе. Наши грядущіе Бисмарки. Литературныя противорѣчія. Винигредъ современной морали. Наша современная беззавѣтность. Три письма о русской словесности. А. И. Левитовъ. Н. А. Некрасовъ. Разладъ художника и мыслителя. Эпидемія легкомыслія. Женскій вопросъ. Жизнь въ литературѣ и литература въ жизни. Новый человѣкъ деревни. О нравственно-философскихъ идеяхъ гр. Л. Толстаго. Власть тьмы. Пѣсни о женской неволѣ. Русскій историческій романъ въ его прошломъ и настоящемъ. Женщины въ пьесахъ Островскаго. А. С. Пушкинъ.

Къ „Сочиненіямъ“ приложенъ портретъ автора, гравированный въ Лейпцигѣ **Геданомъ**. Цѣна за два большихъ тома (около 1700 стр.) **3 руб.** Въ простомъ переплетѣ—3 руб. 50 коп. Въ роскошномъ—4 руб.

СОЧИНЕНІЯ Н. ШЕЛГУНОВА.

ВЪ ДВУХЪ ТОМАХЪ.

Съ вступительной статьей **Н. К. Михайловскаго.**

СОДЕРЖАНІЕ. **Статьи историческія:** Европейскій западъ.—Убыточность незнанія.—Прошедшее и будущее европейской цивилизаціи. Три народности.—Американскіе патріоты. Цивилизація Китая.—Россія до Петра Великаго.—Новый отвѣтъ на старый вопросъ.—Государственный классицизмъ.—Народный романтизмъ (чувство свободы).—Попытки русскаго сознанія.—Фанатизмъ историческаго прогресса.—**Статьи общественно-педагогическія:** Письма о воспитаніи.—**Статьи соціально-экономическія:** Рабочій пролетаріатъ въ Англіи и во Франціи.—Государственное хозяйство.—Женское бездѣлье.—Соціально-экономическій фатализмъ.—**Статьи критическія:** Талантливая безталанность.—Философія застоя.—Историческая сила критической личности.—По поводу одной книги—Право и свобода.—Геній молодой Германіи.—Первый нѣмецкій публицистъ.—Нѣмцы мысли и нѣмцы дѣла.—**Статьи публицистическія.** На коммерческомъ основаніи.—Безсознательный піонеръ прогресса.—Колонизаціонное движеніе и новые центры.—Петербургъ и его „новые“ люди.—Свѣтлыя и мрачныя явленія.—Борьба-ли поколѣній ведетъ насъ впередъ.—Зачатки общественнаго доброжелательства. **Воспоминанія:** Изъ прошлаго и настоящаго.—Переходные характеры.

Цѣна за все Собраніе въ 2-хъ томахъ (съ портретомъ) **3** р. Въ перепл.—**4** р.

Популярно-научныя книги.

ПРЕДСКАЗАНІЕ ПОГОДЫ. Далле. Перев. съ франц. Съ 41 рис. Цѣна 1 р. 25 к.

ФИЗІОЛОГІЯ ДУШИ. А. Герцена. профессора Лозан университета. Предисл. Герцена-отца. Съ франц. Ц. 1 р.

МІРЪ ГРЕЗЪ. Д-ра Симона. Сновидѣн. галлюцинаціи, сомнамбулизмъ, экстазъ, гипнотизмъ, иллюзіи. Съ франц. Ц. 1 р.

РУЧНОЙ ТРУДЪ. Составилъ Графиньи Домашнія занятія ремеслами. Съ франц 400 рис Ц. 1 р. 50 к

ЭКСТАЗЫ ЧЕЛОВѢКА. П. Мантегацца Пер. съ 5-го итальян. изд. Ц. 1 р. 50 к.

ПРОГРЕССЪ НРАВСТВЕННОСТИ. Летурно. Перевела съ франц. Эл. Зауеръ. Ц. 1 р. 50 к.

УМСТВЕННЫЯ ЭПИДЕМІИ. Д-ра Ренья ра. Перевела съ франц. Эл. Зауэръ. Съ 110 рис Ц. 1 р. 75 к

КОТОРЫЙ ЧАСЪ? И. Вавилова. Провѣрка часовъ безъ помощи часовщика и устройство солнеч. часовъ. Съ 13 рис Одобрено Академіей Наукъ. Цѣна 30 к

СВѢТЪ БОЖІЙ. Популярные очерки міровѣдѣнія. 5-е изданіе, въ первый разъ иллюстрированное 60 рис. Ц. 30 к.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ АСТРОНОМІЯ. Фламмаріона Съ франц. 100 рис. Ц. 1 р. 25 к.

ЭЛЕКТРИЧЕСКІЕ АККУМУЛЯТОРЫ. Э. Ренье. Перевелъ и дополнилъ Д. Головъ. Съ 76 рис. Цѣна 1 р. 25 к.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВѢЩЕНІЕ В. Чиколева. съ 151 рис. Ц. 2 р. 50 к.

ЧУДЕСА ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВА. В. Чиколева. Ц. 30 к.

О БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРИЧ. ОСВѢЩЕНІЯ. В. Чиколева. Ц. 25 к.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНИТИЗМЪ А. Гано и Ж. Маневрье. Перев. Ф. Павленкова, В Черкасова и С. Степанова Съ 340 рис. Ц. 1 р. 50 к.

СПРАВОЧНАЯ КНИЖКА ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКѢ. В. Чиколева. Ц. 75 к.

ПОПУЛЯРНЫЯ ЛЕКЦІИ ОБЪ ЭЛЕКТРИЧЕСТВѢ И МАГНИТИЗМѢ. О. Хвольсона. Съ 230 рис. 2-е изданіе. Ц. 2 р.

ГЛАВНѢЙШІЯ ПРИЛОЖЕНІЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА. Э. Госпиталье. Пер. С. Степанова, со 145 рис. 2-е изд. Ц. 2 р. 50 к.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ВЪ ДОМАШНЕМЪ БЫТУ. Э. Госпиталье. Пер. съ франц. С. Степанова. Со 157 рис. Ц. 2 р.

ЭЛЕКТРИЧЕСКІЕ ЗВОНКИ. Боттона. Съ краткими свѣдѣніями о воздушныхъ звонкахъ. Съ 114 рис. Перев. съ англійскаго и дополнилъ Д. Головъ. Ц. 1 р.

СОВРЕМЕННЫЕ ПСИХОПАТЫ. Д-ра Кюлера. Переводъ съ франц. Ц. 1 р. 50 к.

ПСИХОЛОГІЯ ВНИМАНІЯ. Д-ра Рибо. Переводъ съ французскаго. Ц. 50 к.

ПСИХОЛОГІЯ ВЕЛИК. ЛЮДЕЙ. Жолли. Перев. съ франц. 2-е изд. Ц. 1 р.

ГЕНІАЛЬНОСТЬ И ПОМѢШАТЕЛЬСТВО. Ц. Ломброво. Съ рис. Ц. 2 р.

ЧТО СДѢЛАЛЪ ДЛЯ НАУКИ Ч. ДАРВИНЪ? Съ портретомъ Дарвина. Переводъ Г. Лопатина, Ц. 75 к.

ХЛѢБНЫЙ ЖУКЪ. Чтеніе для народа, съ 3 рис. Барона Н. Корфа. Ц. 10 к.

ВРЕДНЫЯ ПОЛЕВЫЯ НАСѢКОМЫЯ. Сост. Иверсенъ. Съ 43 рис. Ц. 80 к.

ВОЗДУШНОЕ САДОВОДСТВО. Н. Жуковскаго Съ 72-мя рис. Ц. 60 к.

ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ. Сост. Г. Тисандье. Съ рис. Переводъ съ француз. Ц. 50 к.

СОЦІАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХЪ. Эспинаса. Перев. съ франц. Ф. Павленковъ. 500 стр., Ц 2 р. 50 к.

ЧАСТНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ДІАГНОСТИКА. Профес. Да-Коста Съ нѣм 704 стр., 43 рис. Ц. 3 р. 50 к

ЕДИНСТВО ФИЗИЧЕСКИХЪ СИЛЪ. Опытъ популярно-научной философіи. А. Секки. Перев. съ франц. Ф. Павленкова. 2-е изд. Ц. 2 р. 50 к.

БЕРЕГИТЕ ЛЕГКІЯ! Гигіеническія бесѣды д-ра Нимейера. Съ 30 рис. Ц. 75 к.

ЖИЗНЬ НА СѢВЕРѢ И ЮГѢ. А. Брема. (Дополненіе къ „Жизни животныхъ“. Со многими рисунками. 2 тома. Цѣна за оба 2 р.

ТЕЛЕФОНЪ и ЕГО ПРАКТИЧЕСКІЯ ПРИМѢНЕНІЯ. Д-ра Мейера и Приса. Съ 293 рис. Ц. 2 р. 50 к.

ЭЛЕКТРИЧЕСКІЕ ЭЛЕМЕНТЫ. Ніоде. Перев. съ франц. Со многими рис. Ц. 2 р.

ДОМАШНЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВѢЩЕНІЕ. Д. Соломенса. Пер. съ англ. Г. Головъ. Со мног. рис. Ц. 1 р.

НА ВСЯКІЙ СЛУЧАЙ! Научно-практическіе совѣты сельскимъ хозяевамъ. А. Альмединнгена. Ц. 50 к.

ПЕРВОБЫТНЫЕ ЛЮДИ. Дебье ра. Перев съ франц Со мног. рисун. Ц. 1 р.

ДАРВИНИЗМЪ, Э. Ферьера. Пер. съ фран. Попул. излож. ученія Дарвина. въ примѣненіи къ жизни растен. животн. и чел Ц 60к.